

МАРГАРЕТ

Э·Т·В·У·Д

ОНА ЖЕ ГРЕЙС



Читайте роман, который лег
в основу сериала «Она же Грейс»

Экспансия чуда. Проза Маргарет Этвуд

Маргарет Этвуд

Она же Грейс

«ЭКСМО»

1996

УДК 821.111-31(71)

ББК 84(7Кан)-44

Этвуд М.

Она же Грейс / М. Этвуд — «Эксмо», 1996 — (Экспансия чуда.
Проза Маргарет Этвуд)

ISBN 978-5-699-94599-3

23 июля 1843 года в Канаде произошло кошмарное преступление, до сих пор не дающее покоя психологам и криминалистам. Служанка Грейс Маркс обвинялась в крайне жестоком убийстве своего хозяина и его беременной любовницы-экономки. Грейс была необычайно красива и очень юна – ей не исполнилось еще и 16 лет. Дело осложнялось тем, что она предложила три различные версии убийства, тогда как ее сообщник – лишь две. Но он отправился на виселицу, а ей всю жизнь предстояло провести в тюрьме и сумасшедшем доме – адвокат сумел доказать присяжным, что она слабоумна. Грейс Маркс вышла на свободу 29 лет спустя. Но была ли она поистине безумна? Чей пагубный дух вселился в ее тело? Кто она – злодейка и искусительница, зачинщица преступления и подлинная убийца? Или же невольная жертва, принужденная угрозами к молчанию? Подлинная личность исторической Грейс Маркс остается загадкой, лоскутным одеялом, облаком домыслов и сенсационных спекуляций. В романе «Она же Грейс» лауреат Букеровской премии Маргарет Этвуд предлагает свою версию истории о самой известной канадской преступнице.

УДК 821.111-31(71)

ББК 84(7Кан)-44

ISBN 978-5-699-94599-3

© Этвуд М., 1996

© Эксмо, 1996

Содержание

I		7
	1	8
II		9
	2	10
III		14
	3	15
	4	21
	5	25
IV		29
	6	30
	7	36
	8	40
	9	45
	10	47
	11	53
V		61
	12	62
	13	66
	14	72
	15	78
	Конец ознакомительного фрагмента.	80

Маргарет Этвуд Она же Грейс

Посвящается Грэйму и Джесс

*За эти годы что бы ни случилось,
Воистину я говорю: «Ты лжешь».
Уильям Моррис. «Защита Гиневры»¹*

*Я неподсудна.
Эмили Дикинсон. Письма²*

*Я не могу сказать вам, что есть свет, но я могу сказать, что не
есть свет... Какова причина света? Что такое свет?
Эжен Марэ. «Душа термита»³*

Margaret Atwood
ALIAS GRACE

Copyright © 1996 by O.W.Toad, Ltd. This edition is published by
arrangement with Curtis Brown UK and The Van Lear Agency LLC

© Нугатов В., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательство «Э»,
2017

I

На краю

Когда я посетила тюрьму, в ней находилось лишь сорок женщин. Это говорит о более высокой морали слабого пола. Главной целью моего визита в это отделение было знакомство со знаменитой убийцей Грейс Маркс, о которой я много знала, но не из газет, а от джентльмена, защищавшего ее в суде. Его талантливая речь спасла эту женщину от виселицы, на которой закончил свой преступный жизненный путь ее несчастный сообщник.

Сюзанна Муди. «Жизнь на вырубках», 1853⁴

Взгляни
на цветы настоящие
этого скорбного мира.

Басё⁵

⁴ Сюзанна Муди (Сюзанна Стрикленд, 1803–1885) – английская писательница, автор книг о жизни переселенцев в Канаде. Ее творчеством вдохновлен сборник стихов Маргарет Этвуд «Дневники Сюзанны Муди» (1970).

⁵ Мацуо Басё (1644–1694) – японский поэт. Писал в жанре хокку.

1

Из гравия растут пионы. Они пробиваются сквозь разбросанные серые камешки, бутоны ощупывают воздух, словно глазки улиток, затем набухают и раскрываются – огромные бордовые цветы, гладкие и блестящие, будто атлас. Потом они распускаются и опадают на землю.

Перед тем как осыпаться, они напоминают пионы в саду мистера Киннира – в самый первый день, только те были белые. Нэнси их срезала. Она была в светлом платье с розовыми бутонами, в юбке с тройными оборками и в соломенной шляпке, закрывавшей лицо. В руках неглубокая корзинка, куда она складывала цветы. Наклоняясь от бедра, как леди, она держала талию прямо. Услышав нас и оглянувшись, она в испуге схватилась рукой за горло.

Я шагаю, понурив голову, нога в ногу с остальными. Молча, опустив глаза, мы парами обходим квадратный двор, окруженный высокими каменными стенами. Руки сжаты впереди: они растрескались, костяшки покраснели. Не помню уже, когда они были другими. Носки туфель то выглядывают, то исчезают под краем бело-голубой юбки, хрустя по дорожке. Мне они впору, как ни одни другие туфли.

Сейчас 1851 год. Скоро мне исполнится двадцать четыре. Я заперта здесь с шестнадцати лет. Я образцовая заключенная и не доставляю никаких хлопот. Так говорит жена коменданта, я однажды подслушала. Я умею подслушивать. Если я буду вести себя хорошо и смиренно, возможно, меня выпустят. Но вести себя смиренно и хорошо не так-то просто – все равно что висеть на краю моста, с которого ты уже упала. Не двигаешься, а просто висишь, но это отнимает все силы.

Я смотрю на пионы краем глаза. Я знаю, что их здесь быть не должно: на дворе апрель, а пионы в апреле не цветут. Вот еще три, прямо передо мной, посреди дорожки. Я украдкой касаюсь одного. На ощупь он сухой, и я понимаю, что цветы матерчатые.

Потом вижу впереди Нэнси – она стоит на коленях, с распущенными волосами, и кровь затекает ей в глаза. Ее шея стянута белым хлопчатобумажным платком в синий цветочек, «девица в зелени»⁶ – это мой платок. Она поднимает голову и протягивает ко мне руки, моля о пощаде. У нее в ушах – золотые сережки, мне раньше было завидно, только меня они больше не волнуют, пусть остаются у Нэнси, ведь теперь все будет иначе, на этот раз я прибегу к ней на помощь, подниму ее и вытру кровь с юбки, оторву лоскут от своего подола, и ничего плохого не произойдет. Мистер Киннир вернется днем домой, проедет по аллее, и Макдермотт заберет лошадь, а мистер Киннир войдет в гостиную, и я приготовлю ему кофе, который Нэнси внесет на подносе, как ей это нравится, и он скажет: «Славный кофе!», – а вечером в сад вылетят светляки, и при свете ламп зазвучит музыка. Джейми Уолш. Мальчик с флейтой.

Я почти уже подхожу к Нэнси – туда, где она стоит на коленях. Но не сбиваюсь с шага и не бегу, мы продолжаем идти парами. И тогда Нэнси улыбается – одними губами, ведь ее глаза залиты кровью и скрыты волосами, – а потом рассыпается на пестрые обрывки, которые кружатся на камнях, подобно красным матерчатым лепесткам.

Я закрываю руками глаза, потому что вдруг темно, и мужчина со свечой загораживает лестницу наверх. Меня окружают стены подвала, и я знаю, что никогда мне отсюда не выбраться.

Об этом я рассказала доктору Джордану, когда мы подошли к этой части моей истории.

⁶ Чернушка дамасская или посевная, нигелла (Nigella gen.).

II Каменистая тропа

Во вторник, около десяти минут первого, в новой Тюрьме нашего Города был подвергнут высшей мере наказания Джеймс Макдермотт, убийца мистера Киннира. При этом событии наблюдалось большое стечение мужчин, женщин и детей, с нетерпением ожидавших предсмертной агонии грешника. Трудно понять, какие чувства могут охватывать женщин, пришедших отовсюду невзирая на грязь и дождь, дабы посмотреть на это отталкивающее зрелище. Осмелимся предположить, что они были не очень благородными или утонченными. Несчастный преступник проявил в этот ужасный миг те же хладнокровие и бесстрашие, которые отличали его поведение, начиная с самого ареста.

«Торонто Миррор», 23 ноября 1843 г.

ПРОСТУПОК	НАКАЗАНИЕ
Смех и разговоры	6 ударов кошкой-девятихвосткой
Разговоры в прачечной	6 ударов сыромятной плетью
Угроза вышибить мозги осужденному (осужденной)	24 удара кошкой-девятихвосткой
Разговоры со зрителями на темы, не относящиеся к их работе	6 ударов кошкой-девятихвосткой
Жалобы на питание, когда охранники требуют сесть	6 ударов сыромятной плетью; хлеб и вода
Глаzenie по сторонам и невнимательность за столом на завтраке	Хлеб и вода
Оставление работы и уход в уборную, пока другие осужденные трудятся	36 часов карцера, хлеб и вода



Грейс Маркс, она же Мэри Уитни и Джеймс Макдермотт – какими они явились в суд. Обвиняются в убийстве мистера Томаса Киннира и Нэнси Монтгомери.

2

**Убийство Томаса Киннира, эсквайра, и его экономки Нэнси Монтгомери
в Ричмонд-Хилле, суд над Грейс Маркс и Джеймсом Макдермоттом и
казнь Джеймса Макдермотта в новой тюрьме Торонто 21 ноября 1843 года**

Грейс Маркс была служанкой
Шестнадцати годков,
Макдермотт же возился
Средь сбруи и подков.

А их хозяин Томас
Киннир вольготно жил
И экономку Нэнси
Монтгомери любил.

«Ах, Нэнси, не печалься,
Я в город поскачу
И, в банке сняв наличных,
К тебе я прилечу».

«Хоть Нэнси и не леди,
А родом из простых,
Но разодета в пух и прах —
Богаче щеголих.

Хоть Нэнси и не леди,
Но мною, как рабой,
Жестоко помыкает,
Век сокращая мой».

Грейс полюбила Киннира,
Макдермотт Грейс любил,
Вот только их любовный пыл
Всех четверых сгубил.

«Будь, Грейс, моей зазновой!»
«Нет-нет, уйди, не смей!
Любовь свою мне докажи —
Монтгомери убей».

Он взял топор и Нэнси
По голове хватил
И, притащив к подвалу,
По лестнице спустил.

«О, пощади, Макдермотт,
Не убивай меня,
Грейс Маркс, одеждою своей
Я одарю тебя!

Не за себя прошу я,
Не за свое дитя,
А за Томаса Киннира,
Кого люблю так я!»

Макдермотт хватъ за волосы,
За шею Грейс взяла —
И стали бедную душисть,
Пока не померла.

«Ах, что же я наделала!
На свете мне не жить!»
«Тогда придется нам с тобой
И Киннира убить».

«Молю тебя, не надо,
Его хоть пожалей!»
«Нет, он умрет, ведь ты клялась
Зазнобой стать моей».

Вот Киннир прискакал домой,
Макдермотт чутко бдит:
«Ба-бах!» – хозяин уж в крови,
Застреленный, лежит.

Приходит коробейник в дом:
«Вам платья не продать?»
«Нет, мистер Коробейник,
Их у меня штук пять».

Мясник затем приходит в дом:
«Филе вам не нужны?»
«Нет, мистер, нам еще надолго
Хватит свежины!»

Они украли золото
И серебра чуть-чуть
И вот в коляске краденой
В Торонто держат путь.

Глухой порою добрались
До города, как тать,
И в Штаты через Озеро

Решили убежать.

Бесстыдно под руку она
Макдермотта брала
И в Льюистоне Мэри
Уитни себя звала.

Нашли в подвале трупы:
Хозяин на спине,
А за лоханью – Нэнси
С лицом, как в жутком сне.

И пристав Кингсмилл судно
Взял напрокат в порту,
На всех парах поплыл он,
Чтобы поспеть к утру.

Каких-то шесть часов прошло,
Хоть время и летит,
И вот в отель заходит он
И громко в дверь стучит.

«Кто там? – спросила Грейс. – И что
Вам нужно от меня?»
«Убийство совершили вы,
Вас арестую я».

Потом все отрицала Грейс
И поклялась в суде:
«Не знала я ведь ничего
О той большой беде.

Меня принудил он, сказав,
Коль стану я болтать,
Меня он пулей из ружья
Отправит прямо в Ад».

Макдермотт так сказал в суде:
«Не я повинен в том,
Что из-за ейной красоты
Спознался я с грехом».

И Джейми Уолш сказал в суде,
Поклявшись, что не врет:
«На Грейс надето платье Нэнси,
Нэнсин капор – вот!»

Макдермотта на виселицу
Вздернули, а Грейс

В темницу упекли, чтоб там
Несла свой тяжкий крест.

Он провисел пару часов
И прямо из петли
На стол учебный угодил,
Разъятый на куски.

У Нэнси роза на холме,
У Томаса – лоза,
И меж собой они сплелись,
Как будто навсегда.

Но всю оставшуюся жизнь
За свой тяжелый грех
Томиться будет Грейс в тюрьме,
Чтоб был урок для всех.

Но ежели искупит Грейс
В конце свою вину,
Стоять ей после смерти
От Спаса одесну.

Стоять от Спаса одесну
И боле бед не знать,
Он смое с грешных дланей кровь —
Их выбелит опять.

И Грейс, как белый снег, чиста,
На небо взмыв потом,
Отныне будет жить в Раю,
В блаженстве неземном.

III

Птичка в клетке

Это женщина среднего роста с худощавой изящной фигуркой. В ее лице ощущается безысходная печаль, которую очень больно наблюдать. Кожа светлая и, наверное, была очень свежей до того, как поблекла от безнадежной грусти. Глаза – ярко-синие, волосы – золотисто-каштановые, а лицо было бы довольно милостивым, если бы не острый выступающий подбородок, который всегда придает людям с таким дефектом лица выражение коварства и жестокости.

Грейс Маркс смотрит на вас искоса, украдкой; глазами никогда не встречается с вами и, незаметно взглянув, неизменно потупив взор, устывает в землю. Она похожа на человека, который стоит намного выше своего скромного положения...

Сюзанна Муди. «Жизнь на вырубках», 1853

*Ее лицо лучилось такой же красотой,
Как спящее дитя или мраморный святой,
Такою красотой и нежностью лучилось,
Как будто ничего дурного не случилось!*

*Прижав ладонь ко лбу, так узница рекла:
«На муки я себя сама же обрекла,
Но мой не сломен дух, и я должна сказать,
Что и семи замкам меня не удержат!».*

Эмили Бронте. «Узница», 1845⁷

⁷ Эмили Бронте (1818–1848) – английская писательница и поэтесса, автор романа «Грозовой перевал» (1847).

3

1859 год.

Я сижу на фиолетовом бархатном диванчике в гостиной коменданта – в гостиной его жены. Эта гостиная всегда принадлежала жене коменданта, хоть и не всегда одной и той же, ведь жены менялись по причинам политическим. Мои руки сложены на коленях, как требуют приличия, хоть я и без перчаток. Мне хотелось бы иметь гладкие белые перчатки, без единой морщинки.

Я часто захожу в эту гостиную: убираю чайную посуду, протираю столики, продолговатое зеркало в раме из листьев и виноградных лоз, фортепьяно и высокие часы из Европы, с оранжево-золотистым солнцем и серебряной луной – светила появляются и исчезают согласно времени суток и неделе месяца. Часы в гостиной нравятся мне больше всего, хоть они и отмеряют время, которого у меня и так слишком много.

Но я никогда раньше не садилась на диванчик – ведь он предназначен для гостей. Миссис ольдермен⁸ Паркинсон сказала, что леди не пристало садиться в кресло, которое только что освободил джентльмен, однако не захотела уточнить, почему. Но Мэри Уитни объяснила: «Потому что оно еще теплое от его задницы, дурища». Грубо объяснила. И теперь я не могу не представлять себе женственные задницы, сидевшие на этом самом диванчике, – белые и нежные, как студенистые яйца всмятку.

Гости одеты в вечерние платья с рядами пуговиц до самого подбородка и тугие проводочные кринолины. Странно, что они вообще могут сесть, ну а при ходьбе под этими пышными юбками их ног касаются лишь сорочки да чулки. Они словно лебеди, гребущие невидимыми лапками, или медузы в скалистой бухте рядом с нашим домом, где я жила в детстве, перед тем как отправиться в долгое, грустное путешествие за океан. Под водой они были похожи на красивые гофрированные колокола и грациозно колыхались, но когда их выбрасывало на берег и они высыхали на солнце, от них не оставалось ничего. Леди похожи на медуз – одна вода.

Когда меня только привезли, проводочных кринолинов еще не было. Их еще делали из конского волоса. Убирая в доме и вынося помой, я видела их в шкафу. Они похожи на птичьи клетки. Каково сидеть в такой вот клетушке? Запертые женские ножки, которым не выбраться наружу и не потереться о мужские брюки. Жена коменданта никогда не говорила слова «ноги», хотя в газетах и писали, что ноги мертвой Нэнси торчали из-под лохани.

К нам приходят не только леди-медузы. По вторникам у нас Женский вопрос и Эмансипация того или сего – с реформаторами обоих полов; а по четвергам – Спиритический кружок, чаепитие и общение с умершими: утешение для жены коменданта, сын которой скончался во младенчестве. Но в основном приходят все же леди. Сидят, попивая чаек из полупустых чашек, а жена коменданта звонит в фарфоровый колокольчик. Ей не нравится быть женой коменданта, она бы предпочла, чтобы муж был комендантом какого-нибудь другого учреждения. Но друзьям мужа удалось выбить ему лишь это место, больше ни на что они не годны.

Поэтому она должна как можно лучше использовать свое общественное положение и свои достоинства, и хоть я, подобно пауку, вызываю у людей страх, а также сострадание, она считает меня одним из своих достоинств. Я вхожу в комнату, делаю реверанс идвигаюсь с отрешенным видом и склоненной головой, собирая чашки или расставляя их, в зависимости от случая. А они украдкой косятся на меня из-под шляпок.

⁸ Ольдермен (ныне «олдермен», от древнеангл. ealdorman, пожилой человек, старейшина) – в Северной Америке член городского совета или местного законодательного собрания.

Они хотят увидеть меня, потому что я – прославленная убийца. По крайней мере, так писали в газетах. Прочитав это впервые, я удивилась: можно сказать «прославленная певица», «прославленная поэтесса», «прославленная спиритка» и «прославленная актриса», но к чему прославлять убийство? Все-таки *убийца* – крепкое словцо, если им называют тебя саму. У этого слова есть запах – мускусный и тяжелый, как аромат увядших цветов в вазе. Иногда по ночам я шепчу про себя: «*Убийца, убийца*». Словно шорох тафтяной юбки по полу.

Убийца звучит просто грубо. Будто кувалда или железная болванка. Лучше уж быть убийцей, нежели убийцей, если другого выбора нет.

Иногда, протирая зеркало с виноградными лозами, я смотрюсь в него, хоть и знаю, что это суетное занятие. В дневном освещении моя кожа кажется бледно-лиловой, как сходящий синяк, а зубы – зеленоватыми. Я вспоминаю все, что обо мне написано: я бесчеловечная ведьма; я невинная жертва мерзавца, заставившего меня действовать против своей воли и с риском для собственной жизни; я не ведала, что творю, и повесить меня – значит совершить узаконенное убийство; я люблю животных; я очень милостива, и у меня ослепительное лицо; у меня голубые глаза, и у меня зеленые глаза; у меня каштановые волосы, а еще я шатенка; я высока, и я среднего роста; я хорошо и прилично одета, потому что ограбила покойницу; в моих руках спорится любая работа; у меня угрюмый, сварливый нрав; я выгляжу слишком хорошо для человека с таким скромным положением; я славная девушка с уступчивым характером, и ничего дурного обо мне сказать нельзя; я хитрая и коварная; у меня не все дома, и я чуть ли не полная идиотка. Интересно только, как во мне все это уживается?

О том, что я едва ли не полная идиотка, им сообщил мой адвокат, мистер Кеннет Маккензи, эсквайр. Я на него рассердилась, но он сказал, что это мой единственный шанс и не надо чересчур умничать. Он сказал, что будет защищать меня в суде, насколько позволяют его способности, ведь, как ни крути, я тогда была еще почти ребенком, а он сводил все к моей свободной воле. Он был добрым человеком, хоть я и не разобрала, о чем он там говорил, но, наверно, это была хорошая речь. В газетах написали, что он повел себя геройски вопреки ошеломляющему перевесу. Впрочем, я не знаю, почему его речь называли защитой, ведь он не защищал, а пытался представить всех свидетелей безнравственными и злонамеренными людьми или доказать, что они ошибались.

Интересно, верил ли он хоть единому моему слову?

Когда я уношу поднос, леди рассматривают альбом жены коменданта.

– Мне чуть дурно не стало, – говорят они. – Вы позволяете этой женщине свободно ходить по дому? Наверное, у вас железные нервы, мои никогда бы не выдержали.

– Ах, полноте! В нашем положении к этому нужно привыкнуть. Все мы, в сущности, заключенные, хоть эти бедные, невежественные создания вызывают у нас жалость. Но, в конце концов, она ведь была служанкой, так что пускай работает. Она искусно шьет, особенно – девичьи платица, и у нее есть вкус к отделке. В более благоприятных обстоятельствах она могла бы стать превосходной помощницей модистки.

– Днем она, конечно, здесь, но мне бы не хотелось, чтобы она оставалась в доме на ночь. Вы же знаете, семь или восемь лет назад она лежала в Лечебнице для умалишенных в Торонто, и хоть она внешне совершенно выздоровела, ее могут забрать в любой момент – иногда она разговаривает сама с собой и громко поет очень странным манером. Не следует искушать судьбу, вечером зрители ее уводят и как следует запирают, а иначе я глаз не могла бы сомкнуть.

– Но я вовсе вас не порицаю, христианское милосердие не безгранично, барс не может переменить пятна свои⁹, и никто не вправе сказать, что выполнил свой долг и выказал надлежащие чувства.

Альбом жены коменданта хранится на круглом столике, покрытом шелковой шалью: ветви, похожие на переплетающиеся лозы, с цветами, красными плодами и голубыми птичками – на самом деле это одно большое дерево, и если долго смотреть на него, начинает казаться, что лозы изгибаются, будто колеблемые ветром. Столик прислала из Индии ее старшая дочь, вышедшая замуж за миссионера, – вот чего бы я себе не пожелала. Наверняка скончаешься до срока – если не от руки мятежных туземцев, как в Канпуре, где почтенные дамы подверглись ужасному поруганию, и хорошо еще, что их всех, избавив от позора, убили, – так от малярии, от которой желтеют и умирают в жутком бреду. Как бы там ни было, не успеешь оглянуться, а уже лежишь в чужой земле под пальмой. Я видела их портреты в книге восточных гравюр, которую жена коменданта достает, чтобы поплакать.

На том же круглом столике – стопка дамских альманахов «Годи», привезенных из Штатов, и памятные альбомы двух младших дочерей. Мисс Лидия утверждает, что я романтический персонаж, но они обе еще слишком молоды и вряд ли сами понимают, что говорят. Иногда они подглядывают и дразнят меня.

– Грейс, – говорят, – почему ты не улыбаешься и не смеешься? Мы никогда не видели, как ты улыбаешься. – А я отвечаю:

– Видать, отвыкла, мисс, лицо больше не складывается в улыбку. – Но если бы я рассмеялась, то уже не смогла бы остановиться, и это разрушило бы мой романтический образ. Ведь романтические персонажи не смеются, я на картинках видела.

Дочки суют в альбомы все что угодно: лоскутки платьев, обрезки ленточек, картинки из журналов – «Развалины Древнего Рима», «Живописные монастыри французских Альп», «Старый лондонский мост», «Ниагарский водопад летом и зимой» (вот бы на него взглянуть – все говорят, очень впечатляет), портреты такой-то английской Леди и такого-то английского Лорда. Их подружки пишут своими изящными почерками: «*Дражайшей Лидии от ее подруги навек, Клары Ричардс*»; «*Дражайшей Марианне в память о великолепном пикнике на берегу голубого озера Онтарио*». А еще стихи:

Как обвивает нежный Плющ
В чащобе Дуб столетний,
Так буду я Тебе верна
Всю Жизнь – до самой Смерти!

Твоя преданная подруга Лора.

Или еще:

Моя подруга, не горюй,
Гони дурные вести!
Куда б ни занесла Судьба,
Душой мы будем вместе!

Твоя Люси.

⁹ Иер. 13:23.

Эта юная леди вскоре утонула на озере, когда корабль пошел ко дну во время шторма: нашли только сундук с ее инициалами, выбитыми серебряными гвоздиками. Сундук был заперт на ключ, и хотя его содержимое намокло, оттуда ничего не выпало, а мисс Лидии подарили на память уцелевший шарф.

Когда в могилу я сойду
И прах мой в ней истлеет,
На строки эти погляди,
И станет веселее.

Под этими стихами стоит подпись: *«Вечно пребуду с тобою Духом. С любовью, твоя “Нэнси”, Ханна Эдмондс»*. Надо сказать, когда я впервые это увидела, то испугалась, хоть это была, конечно, другая Нэнси. Но «мой прах истлеет»... Сейчас-то он уже истлел. Ее нашли с синюшным лицом, и в подвале, наверно, стоял жуткий смрад. Тогда было так жарко, на дворе июль. Быстро она все-таки начала разлагаться, на маслобойне могла бы пролежать подольше, там обычно прохладнее. Хорошо, что я не видела, ведь это такое жуткое зрелище.

Не понимаю, почему всем так хочется, чтобы их помнили. Какая им от этого польза? Есть вещи, о которых все должны забыть и больше никогда не вспоминать.

Альбом жены коменданта – совсем другой. Она, конечно, взрослая женщина, а не юная девица, и хотя тоже любит воспоминания, но они не связаны с фиалками и пикниками. Никаких «дражайших», никакой «любви» и «красы» и никаких «подруг навек», вместо всего этого в ее альбоме – знаменитые преступники, которых казнили или же привезли сюда для исправления. Ведь это исправительный дом, и здесь необходимо раскаиваться, так что тебе же будет лучше, если скажешь, что раскаялась, даже если раскаиваться и не в чем.

Жена коменданта вырезает эти заметки из газет и вклеивает их в альбом. Она даже выпишивает старые газеты со статьями о давно совершенных преступлениях. Это ее коллекция, она – леди, а все леди нынче собирают коллекции. Поэтому ей тоже нужно что-нибудь коллекционировать, и она занимается этим, а не собирает гербарий из папоротников и цветов. Ей все равно нравится пугать своих знакомых.

Потому я и прочитала, что обо мне пишут. Она показала мне альбом сама – наверно, хотела посмотреть, как я себя поведу. Но я научилась не подавать виду: вытаращилась как баран на новые ворота и сказала, что горько раскаялась и стала совсем другим человеком, и спросила, не пора ли унести чайную посуду. Но потом я не раз заглядывала в альбом, когда оставалась в гостинной одна.

Большая часть написанного – ложь. В газетах говорилось, что я безграмотная, но даже тогда я немножко умела читать. Меня учила в детстве мама, пока у нее еще оставались силы после работы, и я сделала вышивку из остатков ниток: «Я – Яблоко, П – Пчела». Мэри Уитни тоже читала со мной у миссис ольдермен Паркинсон, пока мы штопали одежду. А здесь, где меня учат намеренно, я узнала гораздо больше. Они хотят, чтобы я могла читать Библию и брошюры, потому что религия и порка – единственные средства исправления греховной природы, и всегда нужно думать о нашей бессмертной душе. Меня поражает, сколько в Библии всяких злодеяний! Жене коменданта следовало бы их все вырезать и вклеить в альбом.

Кое в чем они правы. Пишут, что у меня сильный характер: так оно и есть, ведь мною никому не удалось воспользоваться, хотя многие пытались. Но Джеймса Макдермотта назвали

моим любовником. Черным по белому так и написали. И как им только не стыдно – мне противно было читать.

Вот что их на самом деле волнует – отношения между леди и джентльменами. Им все равно, убивала я кого-нибудь или нет. Я могла бы перерезать десятки глоток – они бы и глазом не моргнули, ведь в солдатах же этим восхищаются. Нет, главный вопрос для них – были мы любовниками или нет, и они даже сами не знают, какой ответ им больше понравится.

Сейчас я не смотрю в альбом, потому что сюда могут зайти в любой минуту. Я сижу, сложив шершавые руки и опустив голову, и рассматриваю цветы на турецком ковре. То есть, наверно, это цветы. Лепестки у них – как бубны с игральных карт. Эти карты были разбросаны по столу у мистера Киннира, после того как джентльмены всю ночь в них играли. Жесткие и угловатые бубны. Красные – даже темно-бордовые. Толстые языки удавленников.

Сегодня ждут не леди, а доктора. Он пишет книгу: жене коменданта нравится общаться с людьми, пишущими книги. Дальновидные книги. Это доказывает, что она – свободомыслящий человек прогрессивных взглядов. Ведь наука так стремительно развивается, и, учитывая современные изобретения, Хрустальный дворец¹⁰ и познание мира, еще неизвестно, что со всеми нами может произойти лет через сто.

Доктор – это всегда дурной знак. Даже если он не убивает сам, его приход означает, что смерть на пороге, и поэтому врачи похожи на воронов или ворон, все до единого. Но жена коменданта пообещала, что этот доктор не сделает мне больно. Он хочет просто измерить мне голову. Он измеряет головы всех преступников в тюрьме, чтобы определить по шишкам на черепе, какие это преступники: карманники, мошенники, растратчики, невменяемые или убийцы. Она не сказала: «Как ты, Грейс». Потом этих людей можно запереть, чтобы они больше не совершали преступлений, и посмотреть, насколько мир от этого станет лучше.

После казни Джеймса Макдермотта с его головы сняли гипсовый слепок. Об этом я тоже прочитала в альбоме. Наверно, это сделали для того, чтоб улучшить мир.

Его тело анатомировали. Когда я впервые прочитала об этом, то еще не знала, что такое *анатомировать*, но скоро все выяснила. Это все врачи сделали – разрезали его на части, как поросенка для засолки. Наверно, он был для них вроде куска грудинки. Я слышала, как он дышал, как билось его сердце, а они его ножом – даже подумать страшно.

Интересно, куда они дели рубашку. Может, это была одна из тех четырех, которые продал ему коробейник Джеремайя? Лучше бы их было три или пять: нечетные числа приносят удачу. Джеремайя всегда желал мне удачи, а Джеймсу Макдермотту – нет.

Казни я не видела. Его повесили перед тюрьмой в Торонто, и зрители говорят:

– Жаль, что тебя там не было, Грейс. Это послужило бы тебе уроком. – Я много раз представляла себе эту картину: бедняга Джеймс стоит со связанными руками и голой шеей, а на голову ему накидывают капюшон, как котенку, которого хотят утопить. Хорошо хоть, с ним был священник.

– Если бы не Грейс Маркс, – сказал он им, – ничего бы не случилось.

Шел дождь, и огромная толпа стояла по колено в грязи: кто-то приехал за много миль. Если бы мою смертную казнь в последнюю минуту не заменили заключением, они с таким же мрачным удовольствием наблюдали бы за тем, как вешают меня. Там было много женщин и леди: всем хотелось посмотреть, вдохнуть запах смерти, будто изысканный аромат. И когда я прочитала об этом, то подумала: «Если это урок для меня, чему же должна я научиться?»

¹⁰ Хрустальный дворец – выставочный павильон из стекла и чугуна, построен в 1851 г. в Лондоне для «Великой выставки»; сгорел в 1936 г.

Вот я слышу шаги, быстро встаю и расправляю фартук. Потом незнакомый мужской голос:

– Весьма любезно с вашей стороны, мадам.

Жена коменданта отвечает:

– Я так рада оказать вам помощь.

И снова мужчина:

– Весьма любезно.

Затем он появляется в дверях: большой живот, черный мундир, туго облегающий жилет, серебряные пуговицы, аккуратно завязанный галстук.

– Я не опущусь ниже подбородка, – говорит мужчина. – Это не займет много времени, но я был бы вам признателен, мадам, если бы вы остались в комнате. Добродетельным нужно не только быть, но и казаться.

Он смеется, словно бы отпустил шутку, но я слышу по его голосу, что он меня боится. Такая женщина, как я, – это всегда соблазн, особенно если нет свидетелей. Как бы мы потом ни оправдывались, нам все равно никто не поверит.

Потом я вижу его руку, похожую на перчатку, набитую сырым мясом. Эта рука ныряет в разверстую пасть его кожаного саквояжа. Он вынимает оттуда что-то блестящее, и я понимаю, что видела эту руку раньше. Я поднимаю голову и смотрю ему прямо в глаза, сердце у меня сжимается и уходит в пятки: я начинаю голосить.

Это тот же доктор, тот же самый, в том же черном мундире и с полной сумкой блестящих ножей.

4

Меня привели в чувство, плеснув в лицо стакан холодной воды, но я продолжала кричать, хотя доктора рядом уже не было. Меня удерживали две кухарки и сын садовника, взгромодившийся мне на ноги. Жена коменданта послала в тюрьму за старшей сестрой, которая явилась с двумя зрителями. Она деловито отвесила мне оплеуху, и я угомонилась. В любом случае, это был не тот доктор, просто похож на него. Такой же холодный, жадный взгляд, такая же ненависть.

– С истеричками по-другому нельзя, уверяю вас, мадам, – сказала старшая. – Таких припадков мы уже насмотрелись вдоволь. Она была склонна к припадкам, но мы никогда ей не потакали. Мы стремились исправить ее и думали, что отучили ее от этого. Возможно, вернулась ее старая болезнь, ведь что бы там ни говорили в Торонто, семь лет назад она была буйно помешанной, и ваше счастье, что рядом не оказалось ножиц или острых предметов.

Потом зрители потащили меня в главное здание тюрьмы и заперли в этой камере, чтобы я пришла в себя, как они выразились, хоть я сказала им, что теперь, когда нет доктора с его ножами, мне намного лучше. Я сказала, что боюсь врачей, вот и все. Боюсь, что они меня разрежут, как некоторые люди боятся змей. Но они сказали:

– Вечные твои фокусы, Грейс! Тебе просто захотелось внимания. Он и не собирался тебя резать. У него и ножей-то не было. Ты просто увидела штангенциркуль для измерения головы. И насмерть перепугала жену коменданта – впрочем, поделом ей. Она хотела тебе добра, да только избаловала, испортила тебя. Мы теперь не ровня тебе, да? Тем хуже для тебя. Отныне тебе придется терпеть наше общество, потому что мы окружим тебя совсем другим вниманием. Пока начальство не решит, что с тобой делать.

В камере только одно окошко вверху, изнутри забранное решеткой, да соломенный тюфяк. На оловянной тарелке – хлебная корка, рядом каменный кувшин с водой и пустое деревянное ведро, которое заменяет здесь ночной горшок. В такую же камеру меня посадили, перед тем как отправить в Лечебницу. Я говорила, что я не сумасшедшая, но меня никто не слушал.

В любом случае, они не в состоянии отличить больную от здоровой, ведь большинство женщин в Лечебнице так же нормальны, как английская королева. В трезвом виде многие вели себя хорошо, но в пьяном начинали дебоширить – с таким я очень хорошо знакома. Одна женщина скрывалась там от мужа, который бил ее так, что живого места не оставалось, – он-то и был сумасшедшим, но никто его никуда не упекал. Другая сказала, что сходит с ума осенью, потому что у нее нет своего дома, а в Лечебнице тепло, и если бы она не притворялась душевнобольной, то окоченела бы и померла от холода. А весной она снова становилась нормальной, потому что на дворе хорошая погода, и можно бродить по лесу и ловить рыбу. Она была наполовину индианкой и знала толк в рыбалке. Я и сама бы этим занялась, кабы умела и не боялась бы медведей.

Но некоторые не притворялись. У одной бедной ирландки перемерла вся семья: одна половина с голоду на родине, другая – от холеры на корабле. Женщина бродила по Лечебнице и звала родню. Хорошо, что я еще раньше уехала из Ирландии: она рассказывала о жутких страданиях и лежавших повсюду трупах, которые некому было хоронить. Другая женщина убила своего ребенка, и теперь он ходил за ней по пятам, дергая за юбку. Иногда она брала его на руки, обнимала и целовала, а порой кричала и била его. Я ее боялась.

Еще одна была очень набожной, постоянно молилась и пела, и когда узнала о том, что я будто бы совершила, то стала донимать меня при каждом удобном случае:

– На колени! – приказывала она. – Заповедь гласит: не убий! Но Бог всегда милостив ко грешникам. Покайся, пока еще есть время, а не то тебя ждут вечные муки!

Она была похожа на проповедника из церкви и однажды даже попыталась окрестить меня супом – жидким, с капустой, – вылив мне на голову целую ложку. Когда я пожаловалась, старшая сестра холодно взглянула на меня, поджав губы, ровные, как крышка сундука, и сказала:

– Возможно, Грейс, тебе следует к ней прислушаться. Я ни разу не слышала, чтобы ты искренне раскаялась в содеянном, хотя твое жестокое сердце очень в этом нуждается. – И тогда я как рассержусь да как закричу:

– Ничего я не содеяла! Ничего! Она сама виновата!

– Что ты хочешь этим сказать, Грейс? – спросила она. – Успокойся, а не то понадобятся холодные ванны и смирительная рубашка. – И она взглянула на другую сестру: – Вот! Что я говорила? Совсем из ума выжила.

Все сестры в Лечебнице были тучными и крепкими, с большими толстыми руками, а подбородки у них сразу переходили в шеи, затянутые в строгие белые воротнички, и волосы были туго заплетены, словно выцветший канат. Сестра должна быть сильной, ведь какая-нибудь сумасшедшая может запрыгнуть ей на спину и начать вырывать у нее волосы, и поэтому нрав у сестер был крутой. Иногда они даже раззадоривали нас – особенно перед самым приходом посетителей. Им хотелось показать, какие мы опасные и как ловко они с нами управляют, чтобы казаться более полезными и опытными.

Поэтому я перестала с ними разговаривать. С доктором Баннерлингом, заходившим в темную палату, где я сидела связанная, в рукавицах:

– Не двигайся, я должен тебя осмотреть. И не вздумай мне лгать. – И с другими врачами, которые навещали меня, твердя:

– Какой поразительный случай! – словно я теленок о двух головах. В конце концов я совсем перестала говорить, и когда меня спрашивали, только вежливо отвечала:

– Да, мадам. Нет, мадам. Да, сэр. Нет, сэр. – А потом меня отправили в исправительный дом – после того, как все они собрались вместе в своих черных мундирах: «Гм, ага, по моему мнению, уважаемый коллега, сэр, позволю себе не согласиться». Они, конечно, ни на минуту не допускали, что ошиблись, когда меня сюда уперли.

Люди в такой одежде никогда не ошибаются. И никогда не пукают. Мэри Уитни говорила: «Если в комнате у них кто-нибудь пукнул, можешь быть уверена, что это наделала ты». И если ты даже не пукала, лучше об этом помалкивать, иначе они возмутятся: «Какая наглость, черт возьми!», дадут пинка под зад и вышвырнут на улицу.

Она часто грубо выражалась. Говорила «наделала» вместо «сделала». Никто ее так и не переучил. Я тоже так говорила, но в тюрьме научилась манерам получше.

Я сижу на соломенном тюфяке. Он шуршит. Как вода на берегу. Ворочаюсь с боку на бок и прислушиваюсь. Можно закрыть глаза и представить, что я на море в погожий безветренный денек. Где-то далеко за окном кто-то рубит дрова: наверно, топор, блеснув на солнце, опускается вниз, и раздается глухой удар – но откуда мне знать, что рубят дрова?

В камере зябко. У меня нет платка, и я обхватываю себя руками: кто еще меня здесь обнимет и обогреет? В детстве я думала, что если очень туго обхватить тело руками, можно стать меньше. Мне никогда не хватало места, ни дома, ни где, но если бы я сильно уменьшилась, то смогла бы куда-нибудь поместиться.

Волосы выбились из-под чепца. Рыжие волосы сказочной людоедки. Обезумевшей нелюди, как писали газеты. Изверга рода человеческого. Когда принесут обед, я надену помойное ведро на голову и спрячусь за дверь, чтобы напугать смотрителей. Если вам так нужен изверг – получайте!

Но я никогда этого не сделаю. Только мечтаю. Иначе они решат, что я снова сошла с ума. Люди говорят: «сошла с ума», будто безумие – это сторона света, как запад, например. Словно

безумие – другой дом, в который как быходишь, или совершенно чужая страна. Но когда сходишь с ума, никуда не деваешься, а остаешься на месте. Просто кто-то другой входит в тебя.

Я не хочу, чтобы меня оставляли одну в этой камере. Стены совсем голые – ни одной картины, и на окошке вверху нет занавесок. Смотреть не на что, поэтому пялишься в стенку. И через какое-то время на ней появляются картины и вырастают красные цветы.

Кажется, я засыпаю.

Уже утро, но которое по счету – второе или третье? За окном снова рассвело, поэтому я и проснулась. С трудом приподнимаюсь, щипаю себя, моргаю и встаю с шуршащего тюфяка: все руки-ноги затекли. Потом пою песенку – просто чтобы услышать свой голос и не было так одиноко:

Святой, святой Боже, Господь всемогущий,
Рано поутру хвалу Тебе слагаю!
Святой милосердный, святой и могучий,
Господь триединый, Троица благая!

Против гимна они ничего не смогут возразить. Это гимн утру. Я всегда любила рассвет. Потом допиваю остатки воды и брожу по комнате, приподнимаю подол и мочусь в ведро. Еще пара часов – и оттуда будет вонять, как из помойной ямы.

Когда спишь в одежде, по-настоящему не отдыхаешь. Платье мнется, тело под ним – тоже. Такое ощущение, будто тебя свернули в узелок и бросили на пол.

Жалко, нет чистого фартука.

Никто не приходит. Мне дали подумать над своими проступками и прегрешениями, а этим лучше всего заниматься в одиночестве. «Таково авторитетное, взвешенное мнение, Грейс, которое основано на длительном опыте работы». В одиночном заключении, иногда в темноте. Есть тюрьмы, где тебя держат в камере годами, и ты не видишь ни деревьев, ни лошадей и ни единого человеческого лица. Говорят, от этого улучшается цвет кожи.

Меня заперли в одиночке и раньше.

– Закоренелая, лукавая обманщица, – говорил доктор Баннерлинг. – Сиди спокойно, я должен изучить форму твоего черепа, но вначале измерю твой пульс и дыхание. – Но я-то знала, что у него на уме. «Сними руку с моей титьки, грязный мерзавец!» – крикнула бы Мэри Уитни, но я смогла лишь пролепетать:

– Нет, о нет, не надо! – Они так крепко привязали меня к стулу рукавами, спереди пустили их крест-накрест, а сзади затянули узлом, что я не могла ни выгнуться, ни увернуться. Поэтому пришлось вцепиться зубами ему в пальцы, мы опрокинулись назад и повалились на пол, взвывая, как два кота в мешке. По вкусу они напоминали сырую колбасу и в то же время – влажное шерстяное исподнее. Лучше бы их хорошенько ошпарить да отбелить на солнце.

Вчера вечером и накануне ужина никакого не было – один хлеб и ни единого капустного листка. Этого и следовало ожидать. Голод успокаивает нервы. Сегодня будет немножко больше хлеба и воды, поскольку мясо возбуждает преступников и маньяков: они жадно, словно волки, вдыхают его запах, а потом пеняйте на себя. Но вчерашняя вода кончилась, а мне так хочется пить, просто умираю от жажды: во рту все пересохло, а язык распух. Так бывает у жертв кораблекрушения, я читала в судебных протоколах, как их носило по морю и они пили друг у дружки кровь. Тянули соломинки. Зверства людоедов, вклеенные в альбом. Уверена, что никогда бы так не поступила, как бы ни мучил меня голод.

Может, про меня забыли? Принесли бы еще поесть или хотя бы воды, а то я помру с голоду и вся сморщусь, а моя кожа высохнет и пожелтеет, как старая холстина. Я превращусь

в скелет, меня найдут через месяцы, годы или столетия и спросят: «А это кто? Мы и забыли про нее. Ладно, сметите останки и весь этот мусор в угол, а пуговицы заберите. Слезами горю не поможешь, а пуговицы в хозяйстве пригодятся».

Как только начинаешь себя жалеть, тебя запирают на замок. А потом отправляют за капелланом.

– Прииди ко мне, бедная заблудшая душа! На небесах более радости об одной пропавшей овце¹¹. Облегчи свою смятенную душу. Преклони колена. Скрести в отчаянии руки. Расскажи, как денно и ночью мучит тебя совесть, и как очи жертв тебя неотступно преследуют по камере, горя, яко раскаленные угли. Прopleй слезы раскаяния. Исповедуйся! Позволь мне отпустить тебе грехи. Позволь помолиться за тебя. Поведай мне все.

– И что он потом сделал? Какой ужас! А потом?

– Левую или правую руку?

– Как высоко?

– Покажи мне, где.

Кажется, я слышу шепот. А теперь кто-то смотрит на меня в дверной глазок. Я не вижу, но знаю, что смотрит. Потом стук.

Я думаю: «Кто бы это мог быть? Старшая сестра? Или начальник тюрьмы пришел меня отругать?» Нет, это не они, никто здесь не станет из вежливости ко мне стучать, а просто посмотрит в глазок и тут же войдет. «Всегда сперва постучи, – учила меня Мэри Уитни, – и жди, пока не разрешат войти. Неизвестно, чем они там занимаются, им ведь не хочется, чтобы ты все это видела. Они могут ковыряться пальцем в носу или в другом каком месте, ведь даже леди нейдет почесать, где зудит. И если увидишь пятки, торчащие из-под кровати, лучше не обращай внимания. Днем-то они все в шелках, а ночью у них отрастают пороссячьи уши».

Мэри была демократкой.

Опять стук. Как будто у меня есть выбор.

Я прячу волосы под чепец, встаю с соломенного тюфяка, расправляю платье и фартук и отступаю в самый дальний угол камеры. И решительно говорю – ведь всегда нужно сохранять достоинство, если это возможно:

– Войдите.

¹¹ Лук. 15:7.

5

Открывается дверь, и входит мужчина. Он молод, как я, или немного старше, молод для мужчины, но не для женщины, ведь женщина моих лет – уже старая дева, а мужчина – старый холостяк лишь в пятьдесят, но, как говаривала Мэри Уитни, даже тогда он еще не потерял для дам. Вошедший высок, с длинными ногами и руками, но дочка коменданта не назвали бы его привлекательным. Им по душе томные мужчины из журналов, очень элегантные, такие прикидываются тихонями, и у них узкие ступни в остроносых сапогах. Этот же по-старомодному живой и подвижный, и у него довольно крупные ступни, хоть он и джентльмен или почти джентльмен. Вряд ли он англичанин, впрочем, трудно сказать.

Он шатен, волосы вьются от природы – такие называют «непослушными», потому что ему не удастся их расчесать. Сюртук у него добротный, хорошего покроя, но поношенный – локти уже заслонились. На нем жилет из шотландки, она вошла в моду после того, как королева замирилась с Шотландией и построила там замок, увешанный, по слухам, оленьими головами¹². Но сейчас я вижу, что это не настоящая шотландка, а обычная ткань в желтую и коричневую клетку. У него часы на золотой цепочке – значит, он не беден, хотя помят и неухожен.

Он не носит бакенбард, которые теперь носят все. Сама-то я их не шибко люблю, мне подавай усы или бороду, ну или вообще ничего. Джеймс Макдермотт и мистер Киннир брились, Джейми Уолш тоже, хотя у него и бритье-то было нечего; разве только мистер Киннир носил усы. Когда я утром опорожняла его тазик для бритья, то брала чуть-чуть раскисшего мыла – он пользовался хорошим мылом, из Лондона – и втирала в кожу на запястьях, так что запах держался весь день, пока не подходило время мыть полы.

Молодой человек закрывает за собой дверь. Он не запирает ее – кто-то другой запирает ее снаружи. Теперь мы вдвоем заперты в этой камере.

– Доброе утро, Грейс, – говорит он. – Я знаю, вы боитесь врачей. Но должен сразу же сообщить вам, что я – доктор. Меня зовут доктор Джордан, доктор Саймон Джордан.

Мельком взглянув на него, я опускаю глаза. Говорю:

– А другой доктор вернется?

– Тот, что вас напугал? – спрашивает он. – Нет, не вернется.

– Тогда вы, наверно, хотите измерить мне голову.

– И в мыслях не было, – отвечает он с улыбкой, но при этом окидывает мою голову оценивающим взглядом. А на мне ведь чепец, так что он все равно ничего не увидит. Судя по выговору, он американец. У него белые зубы, причем все на месте, по крайней мере – спереди, а лицо вытянутое и худое. Мне нравится его улыбка, хоть она и кривоватая, и кажется, будто он надо мной подшучивает.

Я смотрю на его руки. Там абсолютно ничего нет. Даже колец на пальцах.

– А у вас есть сумка с ножами? – спрашиваю я. – Кожаная такая.

– Нет, – отвечает он. – Я не обычный доктор. И никого не режу. Вы боитесь меня, Грейс?

Не могу сказать, что я его боюсь. Еще слишком рано и трудно понять, чего он хочет. Ведь ко мне просто так не приходят.

Мне хочется узнать, что же он за доктор такой необычный, но вместо этого он говорит:

– Я из Массачусетса. Родился там. С тех пор много поездил по свету. Я ходил по земле и обошел ее¹³. – И смотрит на меня: поняла ли?

¹² Имеется в виду Уния Англии и Шотландии, заключенная в 1707 г. английской королевой Анной Стюарт (правила в 1702–1717 гг.).

¹³ Иов. 1:7.

Это из Книги Иова, с такими словами Сатана обратился к Господу перед тем, как наслать на Иова все эти нарывы, кровоточащие язвы и прочие напасти. Наверно, доктор хочет сказать, что пришел испытать меня, да только он опоздал. Бог послал мне слишком много испытаний, и, возможно, Ему это уже надоело.

Но вслух я этого не говорю. Просто смотрю на него с глупым видом. Я хорошо научилась прикидываться дурочкой. Говорю:

– А во Франции бывали? Оттуда вся мода идет. – Вижу, что разочаровала его.

– Да, – отвечает он. – И в Англии, и в Италии, и в Германии, и в Швейцарии.

Как странно стоять в запертой тюремной камере и разговаривать о Франции, Италии и Германии с незнакомцем! С путешественником. Наверно, он странствует, как коробейник Джеремайя. Но Джеремайя зарабатывал себе на хлеб, а эти люди и так уже богаты. Они путешествуют из любопытства. Разъезжают себе по свету и смотрят на всякие дива, как ни в чем не бывало пересекают океан, и если в одном месте им становится скучно, они просто собирают вещички и перебираются в другое.

Но теперь и мне пора что-нибудь сказать. Я говорю:

– Прямо не знаю, сэр, как вы общаетесь со всеми этими чужеземцами. Ведь ни за что не поймешь, о чем они толкуют. Когда эти бедолаги только сюда приезжают, то гогочут, как гуси, хотя дети быстро учатся чужому языку.

– Верно, дети все схватывают на лету.

Он улыбается, а затем выкидывает такой вот фокус: опускает левую руку в карман и достает яблоко. Медленно подходит ко мне и протягивает яблоко, словно кость – злой собаке, которую хочет прикормить.

– Это вам, – говорит он.

А у меня такая жажда, что это холодное наливное яблоко кажется мне большой круглой каплей воды. Я могла бы мигом его проглотить. Я медлю, но потом думаю: «В яблоке ничего дурного нет, и я возьму его. Давненько я не ела домашних яблок. Наверно, из прошлогоднего урожая, который хранился в погребе, в бочке, но яблоко на вид довольно свежее».

– Я не собака, – говорю ему.

Другой бы на его месте спросил меня, что я хотела этим сказать, а он смеется. Просто выдыхает:

– Ха! – словно бы нашел потерянную вещь. Он говорит: – Понятно, Грейс, что вы не собака.

О чем он сейчас думает? Я сжимаю яблоко обеими руками. Как драгоценное сокровище. Поднимаю его и нюхаю. У него такой свежий запах, что аж душу щемит.

– Вы не будете его есть? – спрашивает он.

– Не сразу, – отвечаю.

– Почему?

– Потом его уже не будет.

На самом деле я просто не хочу есть при нем. Не хочу, чтобы он увидел, как я голодна. Если они почувствуют твою слабинку, то потом с тебя не слезут. Лучше вообще забыть обо всех своих желаниях.

И снова его смешок.

– Скажите мне, что это? – спрашивает.

Я смотрю на него, потом отвожу взгляд.

– Яблоко, – отвечаю. Думает, наверно, что я дурочка. Или это какая-то уловка. Или он сумасшедший, и поэтому они дверь заперли – меня заперли в одной камере с сумасшедшим! Но люди в такой одежде сумасшедшими не бывают, особенно с такой золотой цепочкой для часов – родственники или зрители мигом бы ее сняли.

Он снова кривовато ухмыляется.

– О чем напоминает вам яблоко? – спрашивает.

– Простите, сэра, – говорю, – я вас не понимаю.

Наверно, это загадка. Я вспоминаю Мэри Уитни, и как мы бросали тогда вечером яблочную кожуру, чтобы узнать, за кого выйдем замуж. Но я ему об этом не скажу.

– Мне кажется, вы все хорошо понимаете, – говорит он.

– О вышивке.

Теперь он сам ничего не может понять:

– О чем, простите?

– О вышивке, которую я в детстве сделала: Я – Яблоко, П – Пчела.

– Ясно, – говорит. – А еще?

Опять прикидываюсь дурочкой:

– О яблочном пироге.

– Да, – говорит он. – О том, что вы съели бы.

– Надеюсь, и вы тоже, сэра. Яблочный пирог ведь для того и пекут.

– А какие яблоки вы есть не стали бы? – спрашивает он.

– Гнилые, наверно.

Он задает загадки, как доктор Баннерлинг в Лечебнице. Всегда есть правильный ответ, вернее, сами врачи считают его правильным, и по их лицу можно понять, угадала ты или нет. Впрочем, доктору Баннерлингу я всегда отвечала невпопад. Или, возможно, этот – доктор божьего слова, а такие доктора тоже любят задавать каверзные вопросы. Я их столько переслушала, что хватит надолго.

Яблоко с Древа Познания – вот что он имеет в виду. Добро и зло. Любой ребенок догадался бы. Но я не буду ему подыгрывать.

Снова прикидываюсь дурочкой:

– Вы проповедник?

– Нет, – говорит, – я не проповедник, а врач. Но лечу не тела, а души. Болезни души, ума и нервов.

Я прячу яблоко за спиной. Я ему нисколько не доверяю.

– Нет, – говорю, – я не вернусь туда. Только не в Лечебницу. Я просто физически этого не выдержу.

– Не бойтесь, – говорит он. – Вы же не сумасшедшая, Грейс, правда?

– Нет, сэра, я не сумасшедшая.

– Тогда вам незачем возвращаться в Лечебницу, верно?

– Им не нужны для такого причины, сэра.

– Для этого я сюда и пришел, – говорит он. – Я хочу понять причину. Но для того чтобы я мог вас выслушать, вы должны со мной поговорить.

Я понимаю, что у него на уме. Он – коллекционер. Думает, стоит дать мне яблоко, и можно вставить меня в свою коллекцию. Может, он газетчик. Или путешественник, осматривает достопримечательности. Такие приходят и глазят, и когда на тебя смотрят, чувствуешь себя крохотной букашкой, а они берут тебя двумя пальцами и разглядывают со всех сторон. А потом опускают на землю и уходят.

– Вы все равно не поверите мне, сэра, – говорю. – Суд давно прошел, приговор вынесен, и мои слова ничего не изменят. Спросите лучше стряпчих, судей и журналистов – они, видать, разбираются в этой истории лучше меня. В любом случае, я ничего не помню. Все остальное помню, а тут – полный провал. Вам, наверно, говорили.

– Я хочу вам помочь, Грейс, – говорит он.

Вот так они и втираются в доверие. Предлагают помощь, а взамен требуют благодарности, и хмелеют от нее, как коты от кошачьей мяты. Он хочет вернуться домой и сказать себе: «Без труда выловил рыбку из пруда. Экий я молодец!» Но меня он не выловит. Я буду молчать.

– Если вы попробуете рассказать, – продолжает он, – то я попытаюсь вас выслушать. Из научного интереса. Право, не одними же убийствами нам заниматься! – Он говорит доброжелательно, но за этой доброжелательностью кроются совсем другие намерения.

– А вдруг я вам солгу?

Он не говорит: «Какие глупости, Грейс! У вас большое воображение». Он говорит:

– Возможно. Солжете нечаянно, а может, и преднамеренно. Возможно, вы лгунья.

Я смотрю на него:

– Кое-кто так и считал.

– Давайте все же попытаем счастья, – говорит.

Я смотрю в пол.

– Меня заберут в Лечебницу? – спрашиваю. – Или посадят в одиночную камеру, на хлеб и воду? – Он говорит:

– Даю вам слово, что пока вы будете со мной говорить, не теряя самообладания и не впадая в истерику, все останется, как есть. Мне пообещал комендант.

Я смотрю на него. Отвожу взгляд. Опять смотрю. В руках – яблоко. Он ждет.

Наконец я поднимаю яблоко и прижимаю его ко лбу.

IV Мужская прихоть

Среди этих буйных помешанных я узнала своеобразное лицо Грейс Маркс – уже не печальное и полное отчаяния, но зажженное огнем безумия и светящееся страшным, дьявольским весельем. Заметив, что за ней наблюдают незнакомые люди, она убежала, визжа, словно привидение, в одну из боковых комнат. Видимо, даже во время самых безумных приступов этой ужасной болезни ее постоянно преследовала память о прошлом. Несчастливая девушка! Когда же закончится долгий кошмар ее наказания и раскаяния? Когда же она сядет у ног Иисуса, облаченного в непорочные одежды праведности, когда пятна крови будут смыты с ее рук, а ее душа – искуплена и прощена, и к ней вернется здравый рассудок?..

Будем надеяться, что всю ее прежнюю вину можно объяснить начальным воздействием этого страшного недуга.
Сюзанна Муди. «Жизнь на вырубках», 1853

К величайшему сожалению, мы не знаем, как вылечить этих несчастных больных. Хирург может разрезать брюшную полость и продемонстрировать селезенку. Мышцы можно вырезать и показать молодым студентам. Однако нельзя препарировать на столе человеческую душу или наглядно показать работу головного мозга.

В детстве я играл в прятки, надевая на глаза повязку, мешавшую мне смотреть. Сейчас я похож на того ребенка. Я двигаюсь ощупью, с завязанными глазами, не зная, куда и в правильном ли направлении иду. Однажды кто-нибудь снимет с моих глаз эту повязку.

*Доктор Джозеф Уоркмен,
Главный врач Провинциальной лечебницы для душевнобольных г. Торонто;
письмо к интересующемуся молодому корреспонденту по имени «Генри», 1866*

*Для Призраков – не нужен Дом —
Не нужно Комнат —
В Мозгу есть Коридоры – вьши —
Материальных стен —
...
Злодей, что прячется в Сениях —
Шалун невинный —
Страшнее то, что скрыто —
В нас самих...*

Эмили Дикинсон, ок. 1863

6

*Доктору медицины Саймону Джордану,
«Дом в ракитнике», Челноквилль, Массачусетс,
Соединенные Штаты Америки,
от доктора Джозефа Уоркмена,
главного врача Провинциальной лечебницы
для душевнобольных, Торонто, Западная Канада.
15 апреля 1859 года*

Глубокоуважаемый доктор Джордан!

Подтверждаю получение Вашего письма от второго числа сего месяца и благодарю Вас за рекомендательное письмо от моего уважаемого коллеги доктора Бинсвангера из Швейцарии, организовавшего новую клинику, за которой я слежу с большим интересом. Позвольте сообщить Вам, что как знакомый доктора Бинсвангера Вы имеете полное право осмотреть возглавляемое мною учреждение в любое удобное для Вас время. Я сам бы с удовольствием показал Вам помещения и пояснил наши методы.

Коль скоро Вы намереваетесь создать собственное учреждение, я должен подчеркнуть большое значение водопровода и канализации, поскольку бесполезно оказывать помощь душе больного, если его тело поражено инфекциями. Этой стороной вопроса слишком часто пренебрегают. К моменту моего приезда было зарегистрировано множество вспышек холеры, перфорированной дизентерии, трудноизлечимой диареи и целой группы смертельных тифозных заболеваний, измучивших всю Лечебницу. Стремясь установить их причину, я обнаружил широкий и чрезвычайно опасный сточный коллектор, залегавший под всем подвалом. В некоторых местах нечистоты обладали консистенцией крепкого черного чая, в других – вязкого жидкого мыла и не откачивались потому, что строители не соединили данный отвод с главным стоком. Вдобавок к этому, воду для питья и умывания брали из озера со стоячей водой по соседству с трубой, через которую сливалось зловонное содержимое главного коллектора. Не приходится удивляться, что больные часто жаловались на питьевую воду, напоминавшую по вкусу вещество, которое мало кто из них захотел бы употребить в пищу!

Пациенты довольно равномерно разделяются по половому признаку, но симптомы отличаются большим разнообразием. Я нахожу, что религиозный фанатизм выступает непосредственной причиной умопомешательства столь же часто, как и невоздержанность, но склонен считать, что религия и невоздержанность не могут вызвать помешательства действительно здорового ума. Мне кажется, существует некая предрасположенность, вследствие которой человек становится подвержен заболеванию под воздействием любого возмущающего фактора, будь то психического или физического.

К сожалению, информацию, касающуюся главной цели Вашего запроса, Вам придется искать в другом месте. Осужденная за убийство Грейс Маркс была возвращена в Кингстонский исправительный дом в августе 1853 года, пробыв здесь пятнадцать месяцев. Поскольку меня назначили на должность главного врача лишь за три недели до ее отъезда, у меня не было возможности досконально изучить ее случай. Поэтому я переслал Ваше письмо доктору

Самюэлю Баннерлингу, лечившему ее при моем предшественнике. Я не могу говорить о первоначальной степени ее умопомешательства. У меня создалось впечатление, что она уже давно была достаточно здоровой, что и позволило выписать ее из больницы. Я настоятельно рекомендовал обращаться с нею как можно мягче и полагаю, что сейчас она ежедневно прислуживает в семье коменданта. К концу своего пребывания она вела себя весьма пристойно, и благодаря своему трудолюбию и доброжелательному отношению к больным считалась безвредной и даже полезной пациенткой. Изредка она страдает нервным возбуждением и болями в сердце.

Одна из главных проблем, с которой сталкивается главный врач подобного общественного учреждения, заключается в стремлении тюремной администрации направлять к нам множество «трудных» преступников, и в том числе отвратительных убийц, грабителей и воров, которым не место среди невинных и целомудренных душевнобольных, – направлять лишь для того, чтобы избавиться от этих злодеев. Здание, построенное для отдыха и лечения душевнобольных, не может служить местом заключения неменяемых преступников, а тем более – преступных симулянтов, и я сильно подозреваю, что последняя группа гораздо более многочисленна, нежели принято думать. Не считая пагубных последствий, неизменно проистекающих из общения невинных больных с неменяемыми преступниками, можно ожидать также негативного влияния на характер и привычки смотрителей и служащих больницы, – влияния, не способствующего гуманному и надлежащему обращению с пациентами.

Но коль скоро Вы собираетесь организовать частное учреждение, то я надеюсь, что Вам удастся избежать подобных проблем, и Вы будете меньше страдать от докучливого политического вмешательства, которое так часто препятствует их решению. Желаю Вам в этом успеха, равно как и во всех Ваших начинаниях. К несчастью, подобные заведения чрезвычайно нужны в настоящее время – как в нашей, так и в Вашей стране, ведь беспокойная современная жизнь и ее воздействие на нервную систему приводят к тому, что темпы строительства едва успевают за числом заявок. Поэтому я предлагаю любую посильную помощь, которую буду в состоянии Вам оказать.

С глубоким уважением,
Джозеф Уоркмен, доктор медицины.

* * *

*От миссис Уильям П. Джордан,
«Дом в ракетнике», Челноквилль, Массачусетс,
Соединенные Штаты Америки,
доктору Саймону Джордану,
через майора Ч. Д. Хамфри, Лоуэр-Юнион-стрит,
Кингстон, Западная Канада.
29 апреля 1859 года*

Дражайший сын!

Сегодня я получила твою долгожданную записку с твоим нынешним адресом и рецептом мази от ревматизма. С какой же радостью я снова увидела твой дорогой почерк, хоть ты и написал так мало, но мне очень приятно, что ты интересуешься слабеющим здоровьем своей бедной матушки!

Пользуюсь этой возможностью, чтобы написать тебе несколько строк, и прилагаю письмо, которое пришло на следующий день после твоего отъезда. Твой последний визит был таким кратким – когда же мы снова увидим тебя в семейном и дружеском кругу? Так много путешествовать – вредно для здоровья и для душевного спокойствия. Я мечтаю о том дне, когда ты решишь у нас обосноваться, как подобает приличному человеку.

Не могу не отметить, что прилагаемое письмо пришло из Лечебницы для душевнобольных в Торонто. Думаю, ты собираешься посетить ее, хотя, наверное, уже пересмотрел все подобные учреждения на свете, и осмотр еще одного не принесет тебе особой пользы. Твои описания французских, английских и даже одной швейцарской больницы, которая оказалась намного чище предыдущих, повергли меня в ужас. Нам остается только молиться о сохранении нашего рассудка, но если ты будешь и дальше заниматься тем же, то у меня возникнут серьезные опасения за твое будущее. Прости меня, дорогой мой сын, но я никогда не могла понять твоей тяги к подобным вещам. В нашей семье никто раньше не интересовался полоумными, хотя твой дедушка и был священником квакерской церкви¹⁴. Желание облегчить людские страдания весьма похвально, но умалишенные, равно как идиоты и калеки, обязаны своим состоянием всемогущему Провидению, и зачем пытаться отменить его, несомненно, справедливые, хотя для нас и непостижимые решения?

Кроме того, я не считаю, что частная лечебница сможет приносить доход, ведь, как известно, родственники сумасшедших перестают заботиться о больных, как только тех забирают от них, и не желают больше ни слышать их, ни видеть. Точно так же они относятся и к оплате счетов. Добавь сюда стоимость еды, топлива и жалование людей, которые будут присматривать за больными. Нужно очень многое обдумать, тем более что ежедневное общение с сумасшедшими вовсе не способствует безмятежной жизни. Ты должен подумать и о своей будущей жене и детях, которым нельзя находиться в такой опасной близости от толпы умалишенных.

Я знаю, что не мне выбирать твой жизненный путь, но глубоко убеждена – мануфактура была бы намного предпочтительнее. И хотя прядильные фабрики уже не те, что прежде, – во всем виноваты бессовестные политики, которые безжалостно злоупотребляют доверием общества и становятся продажнее год от года, – но сейчас есть много других возможностей, и некоторые люди прекрасно их используют. Каждый день у нас на глазах сколачиваются новые состояния, и я уверена, что энергии и прозорливости тебе не занимать. Я слышала о новой Швейной Машинке для использования на дому, которая могла бы оказаться очень выгодным предприятием, если удешевить ее производство. Ведь любой женщине хотелось бы иметь такое приспособление, которое бы ее избавило от монотонного труда и

¹⁴ Квакеры – члены протестантской общины, основанной в середине XVII в. в Англии. Отвергают институт священников, церковные таинства, проповедуют пацифизм, занимаются благотворительностью. Общины квакеров распространены главным образом в США и Великобритании.

нескончаемых усилий, и послужило бы также большим подспорьем для несчастных белошвеек. Не мог бы ты вложить небольшое наследство, доставшееся тебе после продажи предприятия твоего бедного отца, в какое-нибудь замечательное и надежное дело? Я уверена, что Швейная Машинка облегчила бы человеческие страдания ничуть не меньше, чем сотня сумасшедших домов, – а может быть, и намного больше.

Конечно, ты всегда был идеалистом, полным оптимистических надежд, но действительность порой напоминает о себе, а тебе уже стукнуло тридцать.

Я вовсе не хочу соваться не в свое дело, но меня как мать очень волнует будущее моего единственного любимого сына. Я так мечтаю еще при жизни увидеть тебя хорошо устроенным, – таким же было желание твоего дорогого отца, – ведь ты же знаешь, что я живу лишь ради твоего благополучия.

Твое присутствие всегда благотворно сказывалось на моем настроении, но после твоего отъезда мое здоровье ухудшилось. Вчера я так сильно кашляла, что моя верная Морин насилу подняла меня по лестнице: она почти так же стара и слаба, и, наверное, со стороны мы были похожи на двух карабкающихся в гору старых ведьм. Несмотря на те настои, которыми меня пичкает по нескольку раз на день моя добрая Саманта, готовящая их на кухне, – они такие же противные на вкус, как и все лекарства, но Саманта божится, что с их помощью поставила свою мать на ноги, – я по-прежнему неважно себя чувствую. Впрочем, сегодня мне стало немного лучше, и я, как обычно, принимала гостей. Меня посетили несколько визитеров, прослышавших о моем нездоровье, в том числе – миссис Генри Картрайт. У нее доброе сердце, но не слишком изысканные манеры; такое часто встречается у недавно разбогатевших людей, но со временем это пройдет. С ней была дочь Вера, которую ты, наверное, помнишь еще нескладной тринадцатилетней девочкой, хотя сейчас она выросла и только что вернулась из Бостона, где жила вместе с тетушкой, расширяя свое образование. Теперь она стала очаровательной молодой женщиной, лучшего и пожелать нельзя, и проявляет такую учтивость и обходительность, что многие пришли бы в восторг, ведь это намного ценнее, нежели броская внешность. Они принесли целую корзину деликатесов, – милая миссис Картрайт меня совсем разбаловала, – за что я горячо ее поблагодарила, хотя ни к чему и не притронулась, поскольку у меня сейчас нет аппетита.

Грустно быть немощной, и я молюсь каждую ночь, чтобы тебя это не коснулось, чтобы ты не переутомлял себя занятиями, не напрягал нервную систему, не сидел по ночам при лампе, не портил себе глаза, не сушил себе мозги и носил шерстяное белье, пока не установится теплая погода. У нас взошел первый латук и зацвела яблоня, а у вас, поди, еще лежит снег. Кингстон так далеко на севере, к тому же он расположен на берегу озера, и мне кажется, это вредно для легких, наверное, там очень зябко и сыро. У тебя комнаты хорошо отапливаются? Надеюсь, ты ешь укрепляющую пищу, и у вас там есть хороший мясник.

Передаю тебе сердечный привет, дорогой мой сын! Морин и Саманта тоже присоединяются, и все мы ждем скорых, надеюсь, вестей о твоём следующем Приезде к нам. Засим, как всегда, остаюсь

Твоей горячо любящей
Матушкой.

* * *

*От доктора Саймона Джордана,
через майора Ч. Д. Хамфри, Лоуэр-Юнион-стрит,
Кингстон, Западная Канада,
доктору Эдварду Мёрчи,
Дорчестер, Массачусетс, Соединенные Штаты Америки.
1 мая 1859 года*

Дорогой Эдвард!

Мне очень жаль, что не удалось заехать в Дорчестер, чтобы узнать, как ты там поживаешь после того, как занялся частной практикой. Пока ты помогал местным хромым да слепым, я скитался по Европе и учился изгонять бесов. Между нами говоря, я так и не раскусил этого секрета, но, как ты понимаешь, все время между моим приездом в Челноквилль и последующим отъездом было занято приготовлениями, ну а вечера я волей-неволей посвящал матушке. Однако нам нужно договориться, что по моем возвращении мы выпьем пару чарок «за старые добрые времена» и поговорим о былых приключениях и наших нынешних планах.

После относительно спокойного переезда через озеро я благополучно прибыл в пункт назначения. Я еще не встречался со своим корреспондентом и, так сказать, работодателем, преподобным Верринджером, уехавшим по делам в Торонто, так что пока я лишь с удовольствием предвкушаю будущую встречу. Судя по письмам, он, подобно многим священнослужителям, страдает непростительным недостатком остроумия и желанием всех поучать: считает нас заблудшими овцами, а себя – пастырем. Но этой великолепной возможностью я обязан именно ему, да еще любезному доктору Бинсвангеру, который ему рекомендовал меня как лучшего специалиста на западном побережье Атлантики – за не очень высокую плату, ведь методисты¹⁵, как известно, бережливы. Эту возможность я надеюсь использовать в интересах развития познания, поскольку мозг и его работа, несмотря на значительные успехи ученых, по-прежнему остаются *terra incognita*¹⁶.

Что же касается местности, то Кингстон – малопривлекательный городишко: лет двадцать назад он сгорел дотла и был затем наспех, безвкусно отстроен. Новые здания – из камня и кирпича, и стоит надеяться, возгорание им не грозит. Сам же исправительный дом выдержан в стиле греческого храма, и здесь им очень гордятся. Впрочем, какому языческому богу в нем поклоняются, мне только предстоит выяснить.

Я снял комнаты в доме майора Ч. Д. Хамфри, не роскошные, но довольно просторные и подходящие для моих целей. Однако я опасюсь, что мой хозяин – пьянчуга: я дважды с ним сталкивался, и оба раза он не мог то ли снять перчатки, то ли надеть их, да и сам, кажется, не понимал, что же ему нужно. Он вперил в меня налитые кровью глаза, словно бы спрашивая,

¹⁵ *Методисты* (методистская церковь) – протестантская церковь, главным образом в США, Великобритании. Возникла в XVIII в., отделившись от англиканской церкви, и требовала последовательного, «методического» соблюдения религиозных предписаний.

¹⁶ Неизвестная область (*лат.*).

какого черта я делаю в его доме. Не удивлюсь, если он в конце концов станет обитателем той частной Лечебницы, которую я по-прежнему мечтаю открыть. Впрочем, хорошо бы мне отучиться от скверной привычки рассматривать всех своих новых знакомых в качестве будущих платежеспособных пациентов. Поразительно, как часто опускаются военные, уйдя в отставку на половинный оклад. Такое чувство, будто, привыкнув к сильным волнениям и бурным эмоциям, они стремятся воспроизвести их и в гражданской жизни. Во всяком случае, я заключил договоренность не с самим майором, – который, без сомнения, потом бы об этом не вспомнил, – а с его многострадальной супругой.

Если не считать завтраков, еще более скудных, нежели те, которыми нас, студентов-медиков, потчевали в Лондоне, я столююсь в расположенной поблизости убогой гостинице. Все блюда – подгоревшие, на гарнир – немного сажи и грязи, вместо приправы – букашки. Коль скоро, невзирая на эту пародию на кулинарное искусство, я остаюсь здесь, ты можешь оценить подлинную степень моей преданности делу науки.

Что касается общества, должен сообщить, что здесь, как и в любом другом месте, есть хорошенькие девицы, одетые, правда, по парижской моде трехлетней давности и, стало быть, по нью-йоркской моде давности двухлетней. Несмотря на реформы нынешнего правительства, в городе полно как недовольных тори¹⁷, так и мелочных провинциальных снобов. И боюсь, твой неотесанный, небрежно одетый друг-демократ и, – что еще предосудительнее, – янки вызовет некоторые подозрения у наиболее фанатичных его жителей.

Тем не менее комендант, – полагаю, по настоянию преподобного Верринджера, – из кожи вон лезет, стараясь мне услужить, и готов ежедневно предоставлять Грейс Маркс в мое распоряжение на несколько часов. Очевидно, она выступает в роли бесплатной служанки, хоть я пока и не выяснил, считает ли она свою работу одолжением или наказанием. Выяснить это будет довольно трудно, ведь кроткая Грейс, закалившись за эти пятнадцать лет в огне чистилища, стала очень крепким орешком. Подобные исследования неэффективны, если не завоевать доверия пациента. Но, исходя из моего знакомства с исправительными учреждениями, я предполагаю, что у Грейс слишком мало оснований кому-либо доверять еще очень долгое время.

Пока что мне удалось лишь один раз повидать предмет моих исследований, и еще слишком рано делиться впечатлениями. Скажу лишь, что я полон надежд, и коль скоро ты любезно выразил желание следить за моими успехами, я постараюсь держать тебя в курсе. Засим остаюсь, дорогой мой Эдвард,

Твоим старинным другом и давнишним товарищем
Саймоном.

¹⁷ Тори в США и Канаде – противники отделения американских колоний от Англии.

7

Саймон сидит за письменным столом, грызет кончик пера и поглядывает в окно на свинцовую, зыбкую поверхность озера Онтарио. На той стороне бухты – остров Вульф, названный, как он предполагает, в честь легендарного генерала, о котором слагали стихи¹⁸. Этот вид Саймона не вдохновляет – пейзаж так убийственно горизонтален, – но однообразные картины порой располагают к раздумьям.

В окно хлещет ливень, а над озером несутся низкие, рваные тучи. Водная поверхность неспокойна: волны накатывают на берег, отступают и накатываются вновь, а ивы под окном колышут своими длинными зелеными волосами, склоняются и хлещут друг друга. Мимо проносится что-то белесое, похожее на женский шарф или вуаль, но потом Саймон понимает, что это просто чайка борется с ветром. «Бесмысленная суета природы, – думает он. – Клыки и когти Теннисона»¹⁹.

Саймон уже не питает тех радужных надежд, о которых только что написал. Наоборот, он охвачен беспокойством и унынием. Его пребывание здесь кажется сомнительным, однако на данный момент у него нет другого выбора. Он занялся медициной из юношеского упрямства. Его отец был богатым фабрикантом и рассчитывал со временем передать дело Саймону, который тоже на это рассчитывал. Но сначала ему хотелось немного побунтовать – уйти с проторенных путей, попутешествовать, получить образование, испытать себя, в том числе – в мире науки и медицины, который всегда его привлекал. Потом он мог бы вернуться со своим «коньком» домой, в полной уверенности, что не придется скакать на нем ради заработка. Он знал, что многие светила науки обладали состояниями, которые позволяли им заниматься исследованиями бескорыстно.

Саймон не ожидал столь ранней смерти отца и краха его текстильных мануфактур и до сих пор не знал, что же чему предшествовало. Вместо увеселительной прогулки по тихой реке он потерпел крушение в открытом море и теперь плыл, вцепившись в обломок мачты. Иными словами, ему пришлось во всем полагаться на самого себя – во время юношеских споров с отцом Саймон утверждал, что именно к этому и стремился.

Мануфактуры были проданы, с молотка ушел и внушительный дом его детства с огромным штатом прислуги – горничными, кухарками и служанками. Эта переменчивая череда улыбчивых девушек и женщин с именами типа Элис или Эффи баловала его на протяжении всего детства и юности, и сейчас у него такое чувство, будто их продали вместе с домом. От девушек пахло земляникой и солью, у них были длинные волнистые волосы – или у одной из них, и она иногда их распускала; возможно, это была Эффи. Что же касается его наследства, то оно оказалось меньше, нежели полагала матушка, и большая его часть досталась ей. Она полагает, что живет в стесненных условиях, и это действительно так, если учесть, какими эти условия были прежде. Мать считает, что жертвует собой ради сына, и он не хочет лишать ее этой иллюзии. Отец был всем обязан самому себе, но мать построила свою жизнь с чужой помощью, а подобные сооружения, как известно, недолговечны.

Поэтому сейчас частная психиатрическая лечебница ему не по карману. Чтобы собрать на нее средства, нужно предложить что-нибудь новое – какое-нибудь открытие или средство лечения, и это в области, которая и так уже изобилует идеями, впрочем, весьма спорными. Возможно, когда он сделает себе имя, то сможет открыть учреждение на паях. Однако нельзя терять контроль: Саймон должен иметь возможность абсолютно свободно следовать своим

¹⁸ Имеется в виду английский генерал Джеймс Вульф (1727–1759), возглавивший Квебекскую экспедицию против французской армии. Упоминается в национальном гимне Канады.

¹⁹ Альфред Теннисон (1809–1892) – английский поэт и драматург викторианской эпохи.

принципам – как только он их определит. Он напишет проспект: светлые просторные палаты, хорошая вентиляция и канализация, обширная территория с протекающей через нее рекой – ведь журчание воды успокаивает нервы. При этом он откажется от механизмов и всевозможных приспособлений: никаких электрических приборов и магнитов. Правда, подобные изобретения весьма впечатляют американскую публику – ей нравится, когда врач поднимает рычаг или нажимает на кнопку, – но Саймон не верит в их эффективность. Вопреки искушению, он не пойдет на сделку с совестью.

Сейчас все это лишь мечты. Но ему необходим хоть какой-то проект, чтобы показать его матушке. Она должна поверить, что у сына есть цель, пусть даже сама она этой цели не одобряет. Он, конечно, всегда сможет жениться по расчету, как поступила она сама. Мать обменяла свою фамилию и связи на груды звонких монет и мечтает устроить нечто подобное и для него: брачные сделки между обедневшими европейскими аристократами и новоиспеченными американскими миллионерами становятся все более популярными, в том числе в Челноквилле, штат Массачусетс, хотя и в гораздо меньших масштабах. Саймон вспоминает выступающие передние зубы и утиную шейку мисс Веры Картрайт и в отвращении содрогается.

Он смотрит на часы: завтрак опять запаздывает. Каждое утро его на деревянном подносе доставляет Дора, единственная служанка в доме. Она с глухим стуком и грохотом ставит поднос на столик в дальнем углу гостиной, и после ее ухода Саймон туда садится и жадно поглощает те блюда, что кажутся ему съедобными. Он взял за привычку писать перед завтраком за другим столом, побольше, чтобы, склонившись за работой, не поднимать на служанку глаз.

Дора – полная женщина с лицом как блин и маленьким, искривленным ротиком, как у обиженного ребенка. Ее густые черные брови сходятся на переносице, придавая ее хмурой физиономии оттенок вечно возмущенного осуждения. Понятно, что свою работу она ненавидит, и Саймону интересно, чем бы ей самой хотелось заниматься. Он попытался представить Дору проституткой, – Саймон часто играет в эту мысленную игру с различными женщинами, встречающимися ему на пути, – но не смог вообразить себе мужчину, который оплатил бы ее услуги. Все равно что платить за то, чтобы попасть под телегу, и не меньшая угроза для здоровья. Ведь Дора – баба дюжая и способна переломать мужчине хребет своими бедрами, которые Саймон рисует себе сероватыми, как вареные колбасы, колючими, как опаленная индейка, и огромными, как свиные окорока.

Дора отвечает ему таким же неуважением. Очевидно, ей кажется, что Саймон снял эти комнаты с единственной целью – донимать ее. Из его носовых платков она делает фрикасе, рубашки перекрахмаливает и теряет пуговицы от них – наверняка что ни день, собственноручно обрывает. У Саймона даже возникли подозрения, что она умышленно пережаривает гренки и переваривает яйца. Бухая поднос на стол, она орет: «Ваша еда!» – словно зовет есть борова, а затем ковыляет прочь и захлопывает за собой дверь, едва не снося косяки.

Саймон избалован европейскими служанками, от рождения знающими свое место, и еще не привык к возмущенным проявлениям равноправия, с которыми так часто можно встретиться по эту сторону океана. Конечно, за исключением Юга, но туда он не ездит.

В Кингстоне можно было бы найти жилье и получше, но ему не хочется переплачивать. Эти комнаты вполне подходят для его недолгого пребывания. К тому же других жильцов нет, а Саймон ценит уединение и тишину, благоприятствующую размышлениям. Дом каменный, холодный и сырой, но в силу своего темперамента, – возможно, в нем говорит старожил из Новой Англии, – Саймон немного презирает материальный комфорт. А в бытность свою студентом-медиком он приучил себя к монашескому аскетизму и многочасовой работе в тяжелых условиях.

Он вновь поворачивается к письменному столу. *«Дражайшая матушка, – начинает он. – Благодарю Вас за длинное и содержательное письмо. Я пребываю в полном здравии и делаю большие успехи в изучении нервно-психических заболеваний среди преступного элемента. Если удастся установить причину этих болезней, то можно будет значительно облегчить страдания людей...»*

Он не в силах дальше писать, поскольку чувствует, что кривит душой. Однако нужно сочинить хоть что-нибудь, иначе мать решит, что он утонул, скоропостижно скончался от чахотки или был ограблен. Погода – тема на все случаи жизни, но нельзя же писать о погоде натошак.

Из ящика стола он вынимает небольшую брошюру, датированную временем совершения убийств и присланную ему преподобным Верринджером. Брошюра содержит признания Грейс Маркс и Джеймса Макдермотта, а также сокращенный вариант судебного протокола. На первой странице – гравюра, изображающая Грейс, которая без труда могла бы сойти за героиню сентиментального романа. В то время ей едва исполнилось шестнадцать, однако на гравюре женщина выглядит лет на пять старше. Плечи закутаны в палантин; края чепчика образуют вокруг головы темный нимб. Прямой нос, прелестный ротик, выражение лица можно бы счесть томным – типичный образ задумчивой Магдалины, устремившей большие глаза в пустоту.

Рядом – парный портрет Джеймса Макдермотта, изображенного в пышном воротнике той эпохи, с зачесанными наперед волосами, напоминающими прическу Наполеона и символизирующими бурный темперамент. Он смотрит сердито, по-байроновски насупленно. Наверное, художника он восхитил.

Под этим двойным портретом стоит каллиграфическая подпись: *Грейс Маркс, она же Мэри Уитни; и Джеймс Макдермотт, какими они явились в суд. Обвиняются в убийстве мистера Томаса Киннира и Нэнси Монтгомери. Все это неприятно напоминает приглашение на свадьбу. Или напоминало бы, если бы не рисунки.*

Готовясь к первой беседе с Грейс, Саймон не обратил на этот портрет никакого внимания. «Наверное, она стала совсем другой, – думал он, – растрепанной, менее сдержанной, с молящим взором и, вполне возможно, безумной». В ее временную камеру Саймона привел смотритель, который запер его вместе с ней, предупредив, что она сильнее, чем кажется, и чертовски больно кусается. Смотритель посоветовал также звать на помощь, если Грейс начнет буянить.

Увидев ее, Саймон сразу понял, что бояться нечего. Утренний свет косо падал из маленького окошка под самым потолком, освещая тот угол, где она стояла. То была почти средневековая картина – простые линии, четкая угловатость: монахиня в келье, дева в башне, ожидающая завтрашней казни на костре или отважного героя, который в последний момент ее спасет. Женщина, загнанная в угол: ниспадающее до пят тюремное платье, которое скрывало наверняка босые ноги; соломенный тюфяк на полу; боязливо ссутуленные плечи; руки, крепко обхватившие худое тело; длинные пряди каштановых волос, выбившиеся из-под чепца, который вначале показался венком из белых цветов; и особенно глаза, огромные глаза на бледном лице, расширенные от страха или в немой мольбе, – все как полагается. В парижской больнице Сальпетриер он повидал немало очень похожих истеричек.

Он подошел к ней со спокойной улыбкой на лице, изображая доброжелательность, – и это была, в конце концов, не просто маска, а подлинное чувство. Важно убедить таких пациентов, что вы-то, по крайней мере, не считаете их сумасшедшими, поскольку они сами никогда себя таковыми не считают.

Но потом Грейс шагнула вперед из островка света, и в следующий миг Саймон внезапно увидел совершенно другую женщину. Она была прямее, выше и хладнокровнее, одета в обычный тюремный наряд с юбкой в синюю и белую полоску, из-под которой выглядывали ноги,

но не босые, а в обыкновенных туфлях. Даже волос выбилось не так уж много: почти все они были заправлены под белый чепец.

Глаза ее действительно были необычайно велики, но далеко не безумны. Наоборот, они откровенно его оценивали. Словно бы она знакомилась с объектом какого-то непонятого эксперимента; словно это она была доктором, а он – пациентом.

Вспоминая эту сцену, Саймон морщится. «Я слишком увлекся, – думает он. – Все это плод моего воображения и фантазии. Нельзя отвлекаться от наблюдений, нужно действовать осторожно. Ценность эксперимента подтверждается его результатами. Следует избегать излишней горячности и мелодраматизма».

За дверью слышится шарканье, затем глухой стук. Наверное, принесли завтрак. Он поворачивается к двери спиной и чувствует, как шея втягивается в воротник, словно голова черепахи в панцирь.

– Войдите, – восклицает он, и дверь распахивается.

– Ваша еда! – орет Дора. Грохнув подносом о стол, она выходит из комнаты, и дверь за ней с треском захлопывается. В голове Саймона непроизвольно возникает мимолетный образ Доры, подвешенной за лодыжки в витрине мясника, нашпигованной чесноком и покрытой хрустящей корочкой, будто зажаренный в меду окорок. «Ассоциация идей – поистине удивительная вещь, – думает он. – Достаточно понаблюдать за работой собственного ума. Например: Дора – свинья – окорок. Чтобы перейти от первого термина к третьему, необходим второй, но от первого ко второму и от второго к третьему переход прямой».

Он должен это записать: «Важен промежуточный термин». Возможно, у сумасшедших эти ассоциативные цепочки просто стирают грань между реальностью и простой фантазией, как это случается во время сомнамбулического транса, под воздействием сильного жара или некоторых лекарств? Но каков механизм данного явления? Ведь должен же быть какой-то механизм. Где следует искать разгадку – в нервной системе или в самом мозгу? Что и как нужно вначале повредить, чтобы вызвать душевную болезнь?

Его завтрак, должно быть, остыл, если только Дора еще раньше нарочно его не остудила. Саймон встает с кресла, распрямляет длинные ноги, потягивается и зевает, а затем подходит к другому столу, на котором стоит поднос. Вчерашнее яйцо было тугим, как резина, он сказал об этом хозяйке, изможденной миссис Хамфри, и, вероятно, та сделала Доре выговор, потому что сегодня яйцо и вовсе недоваренное: почти как студень с голубоватым отливом, отчего походит на глазное яблоко.

«Будь проклята эта баба, – думает Саймон. – Недовольная, тупая и мстительная. Ум ее недоразвит, однако она хитра, лжива и коварна. В угол ее не загонишь. Жирная свинья».

Гренок хрустит на зубах, как обломок сланца. *«Дражайшая матушка, – мысленно сочиняет он письмо. – Погода здесь чудесная, снег почти весь сошел, в воздухе пахнет весной, солнце согревает своими лучами озеро, и уже мощные зеленые ростки...»*

Ростки чего? Он никогда особо не разбирался в цветах.

8

Я сижу в комнате для шитья, наверху лестницы в доме жены коменданта. Сажусь на обычном стуле за обычным столом, с обычным шитьем в корзине, только без ножниц. Они требуют, чтобы ножниц у меня под рукой не было, и если мне нужно отрезать нитку или подровнять шов, я должна обращаться к доктору Джордану, который вынимает их из жилетного кармана и снова кладет их туда же, когда я закончу. Он говорит, что вся эта катавасия ни к чему, – он считает меня совершенно неопасной и вполне вменяемой. Видимо, человек доверчивый.

Впрочем, иногда я откусываю нитку зубами.

Доктор Джордан сказал им, что нужно создать атмосферу расслабленности и спокойствия, отвечающую каким-то его целям, и поэтому он попросил сохранить мой привычный распорядок дня. Сплю я по-прежнему в отведенной мне камере, ношу ту же самую одежду и ем тот же завтрак в тишине, если, конечно, это можно назвать тишиной. Сорок женщин, большинство сидит здесь за обычное воровство, жуют хлеб широко раскрытыми ртами и громко хлеблют чай, стараясь произвести хоть какой-то шум, а тем временем нам читают вслух поучительный отрывок из Библии.

Думать можно о чем угодно, а вот если засмеешься, лучше притвориться, что закашлялась или подавилась: лучше второе – тогда тебя ударят по спине, а если закашляешься, вызовут врача. Ломоть хлеба, кружка спитого чая и мясо на обед, только немного, потому что переедание жирной пищи возбуждает преступные органы мозга – так говорят врачи, а охранники и смотрители потом нам пересказывают. Но почему тогда их собственные преступные органы не возбуждаются, если они досыта едят мясо, курицу, яичницу с грудинкой и сыр? Поэтому они такие толстые. Мне кажется, они иногда забирают то, что причитается нам, но это ни капельки меня не удивляет, тут везде царит волчий закон: только мы овцы, а волки – они.

После завтрака меня, как обычно, отводят в дом коменданта двое смотрителей, которые любят пошутить между собой, пока начальство не слышит.

– Слышь, Грейс, – говорит один, – я смотрю, у тебя новый ухажер, доктор небось. Не знаю, сам он стал перед тобой на колени или же ты свои коленки перед ним задрала, но лучше ему держать ухо востро, а не то уложишь ты его на обе лопатки.

– Да уж, на лопатки, – говорит другой, – прямо в камере, без сапог и с пулей в сердце. – Они хохочут: думают, что это ужасно смешно.

Я пытаюсь представить, что сказала бы Мэри Уитни, и порой говорю это.

– Если вы действительно так обо мне думаете, то придержите свои грязные языки, – сказала я им. – А не то я вырву их темной ночью у вас изо рта вместе с корнем! Мне даже нож не понадобится – просто схвачу зубами и вырву! И не смейте прикасаться ко мне своими мерзкими лапами!

– Шуток не понимаешь? Я б на твоём месте только рад был, – говорит один. – Кроме нас, к тебе никто и не прикоснется всю оставшуюся жизнь. Тебя ж заперли здесь, как монашку. Признайся, тебе ведь страсть как хочется покувыркаться. Ты ведь путалась с тем коротышкой Джеймсом Макдермоттом, убийцей чертовым, пока ему не выпрямили его кривую шею.

– Брось задаваться, Грейс, – говорит другой. – Хватит корчить из себя саму невинность, будто у тебя и ног-то нет, словно ты чиста, как ангелочек! Можно подумать, ты никогда не леживала в кровати с мужиком, там, в льюистонской таверне, мы ведь слышали об этом. Когда тебя сцапали, ты надевала корсет и чулки. Но я рад, что в тебе еще остался прежний дьявольский пыл, не выбили его из тебя покуда.

– Ох, люблю, когда в бабе есть задор, – говорит первый.

– Как в бутылке с джином, – подхватывает другой. – Тут и до греха недалеко, прости господи. Маленько растопки, чтоб огонь пуще горел.

– Хорошо, когда баба вдрызг пьяна, – говорит первый, – а еще лучше, если обопьется до беспамятства. Тогда ее и не слышно, ведь нет ничего хуже вопящей шлюхи.

– Ты сильно шумела, Грейс? – спрашивает другой. – Визжала, стонала, извивалась под этим жалким трусишкой? – и смотрит на меня, что я отвечу. Иногда я говорю, что не потерплю таких разговоров, и тогда они от души смеются, но чаще я просто молчу.

Так мы и коротаем время, пока не доберемся до ворот тюрьмы.

– Кто идет? А, это вы, день добрый, Грейс! И два кавалера тут как тут, ходят за тобой, будто к фартуку привязанные. Подмигни да пальцем помани – они тут как тут, бегут вдоль по улице, крепко схватив тебя за руки.

В этом нет надобности, но им это нравится. Они прижимаются ко мне все теснее, пока совсем не стиснут. И мы шлепаем по грязи, через лужи, вдоль куч конского навоза, мимо цветущих деревьев в огороженных садах: листочки и цветы похожи на свисающих желто-зеленых гусениц. Лают собаки, мимо проезжают экипажи и кареты, разбрызгивая по дороге грязь, а люди пялятся на нас – ведь ясно, откуда мы идем, по моей одежке видно. Наконец мы поднимаемся по длинной аллее с цветочными бордюрами к служебному входу.

– Вот она, в целостности и сохранности. Пробовала сбежать, верно, Грейс? Улизнуть от нас хотела. Глазищи-то голубые, а сама хитрая! Может, в следующий раз тебе и повезет, девочка моя. Надо было приподнять подол повыше и показать свои чистенькие пятки, да лодыжку в придачу, – говорит один.

– Да нет, еще выше, – добавляет другой, – задрать аж до самой шеи. Тогда б ты шла, как посудина под всеми парусами, с задницей по ветру. От твоих прелестей мы б застыли на месте, как громом пораженные, или ягнята на бойне, когда их по голове стукнут, а ты – хлоп! – и удрала бы.

Они перемигиваются и смеются – это одна похвальба. Они все время говорят друг с другом, не со мной.

Невежи, одним словом.

Я не прислуживаю в доме, как раньше. Жена коменданта меня до сих пор побаивается: думает, что со мной случится новый припадок и я разобью какую-нибудь ее драгоценную чайную чашку. Можно подумать, она никогда не слышала, как люди орут. Поэтому я больше не протираю пыль, не заносу поднос с чаем, не опорожняю ночные горшки и не застилаю постелей. Теперь я работаю на кухне: чищу кастрюли и сковороды на судомойне, или тружусь в прачечной. Я-то не возражаю, ведь мне всегда нравилось стирать: работа тяжелая, и руки от нее грубеют, но зато потом такой свежий запах.

Я помогаю постоянной прачке, старухе Клэрри – наполовину она цветная и была когда-то рабыней, пока здесь с этим не покончили. Она не боится меня, не обращает на меня внимания, и ее не интересует, что я такого совершила, пусть хоть убила джентльмена. Только кивает, будто бы хочет сказать: «Еще одним меньше». Она говорит, что я трудолюбивая, от работы не отлыниваю и мыла зря не перевозжу. Я знаю, как обращаться с тонким льняным полотном и как выводить пятна, даже на светлом кружеве, а это не так-то просто. Еще я хорошо крахмалю белье, и можно не опасаться, что я сожгу что-нибудь утюгом, – а большего ей и не надо.

В полдень мы идем на кухню, и кухарка отдает нам остатки из кладовой: в самом худшем случае немного хлеба, сыра и мясного бульона, но обычно еще что-нибудь, ведь Клэрри – ее любимица, и все знают, что Клэрри нельзя перечить, а не то она может вспылить. Жена коменданта просто молится на нее, особенно из-за кружев и оборок, говорит, что она – сущий клад, что ей нет равных, и очень не хотела бы ее потерять. Поэтому Клэрри ни в чем не отказывают, а раз я с ней, то не отказывают и мне.

Тут меня кормят лучше, чем в хозяйских покоях. Вчера нам досталась целая куриная тушка, не траченная. Мы сидели за столом, как две лисы в курятнике, и обгладывали косточки.

Наверху подняли такой шум из-за ножниц, а тут вся кухня оцетинилась ножами да вертелами, как дикобраз. Я могла бы в два счета сунуть один в карман фартука, и никто бы не заметил. С глаз долой, из сердца вон – вот их девиз, а под лестницей – для них все равно что под землей. Им-то самим невдомек, что слуги могут по ложечке вынести через черный ход больше, чем хозяин внесет через парадную дверь лопатой, главное – выносить понемножку. Одного маленького ножичка никто ведь не хватится, и лучше всего спрятать его в волосах, под чепцом, туго сколотым булавкой, а то неприятный будет сюрприз, ежели ножик случайно выпадет.

Мы разрезали куриную тушку таким ножом, и Клэрри съела нежное мясо внизу, рядом с пупком: она любит его поджедать, если останется, ведь она старшая, и выбор всегда за ней. Мы почти не разговаривали, а только щерились друг другу – курица была уж больно вкусная. Я съела жир на спинке и на шкурке, высосала ребрышки и потом облизала пальцы, как кошка. После обеда Клэрри быстренько покурила трубку на лестнице и вернулась к работе. Мисс Лидия и мисс Марианна пачкают целую грудю белья, хоть я вовсе не назвала бы его грязным. Наверно, по утрам они его примеряют, а потом, передумав, снимают, нечаянно бросают на пол и топчутся, и после этого белье приходится отправлять в стирку.

Проходит время, и когда солнце на часах вверху начинает клониться к вечеру, у парадной двери появляется доктор Джордан. Я прислушиваюсь к стуку, звонкам и топоту служанки, а потом меня по черной лестнице уводят наверх: мои руки белые-белые от мыла, а пальцы все сморщились от горячей воды, как у свежей утопленницы, но при этом они красные и шершавые. Наступает пора шитья.

Доктор Джордан садится в кресло напротив и кладет на стол свою записную книжку. Он всегда что-нибудь с собой приносит: в первый день – какой-то засохший голубой цветок, на второй – зимнюю грушу, а на третий – луковицу. Никогда не угадаешь, что он в следующий раз притащит, хотя ему больше нравятся фрукты да овощи. В начале каждой беседы доктор спрашивает меня, что я думаю об этом предмете, и я что-нибудь отвечаю, просто чтоб не расстраивать его, а он это записывает. Дверь всегда должна оставаться открытой, чтобы не возникало никаких подозрений и соблюдались правила приличия. Если б хозяева только знали, что творится каждый день, пока меня к ним ведут! Мисс Лидия и мисс Марианна проходят мимо по лестнице и заглядывают к нам: они ужасно любопытные, и им не терпится посмотреть на доктора.

– По-моему, я забыла здесь наперсток. Добрый день, Грейс, надеюсь, тебе уже лучше? Извините нас, доктор, мы не хотели вам мешать.

Они обаятельно ему улыбаются: прошел слухок, что он неженат и при деньгах, но я не думаю, что хоть одна из них удовольствовалась бы доктором-янки, если бы ей предложили что-нибудь получше. Однако они проверяют на нем свои чары и привлекательность. Впрочем, кривовато им улыбаясь, он тут же хмурит брови. Не обращает на них особого внимания, ведь они всего лишь глупые девчонки, и приходит он сюда не ради них.

Он приходит ради меня. Поэтому ему не нравится, когда прерывают наш разговор.

В первые два дня и прерывать-то было особо нечего. Я сидела, опустив голову, не смотрела на него и дошивала стеганое одеяло для жены коменданта – осталось закончить пять лоскутков. Я смотрела за иглой, сновавшей туда-сюда, хотя мне кажется, я могла бы шить даже во сне, ведь я занимаюсь этим с четырех лет и умею делать крошечные стежки, словно мышка. Начинать учиться лучше смолоду, иначе никогда не освоишь. Главные цвета – светло-розовая веточка и цветок на темно-розовом, белые голуби и виноградные лозы на сине-фиолетовом фоне.

Или я смотрела поверх макушки доктора Джордана на стенку у него за спиной. Там висит картина в рамке: цветы в одной вазе и фрукты в другой, жена коменданта сама вышивала крестиком. Но топорно, потому что яблоки и персики кажутся жесткими и квадратными, словно

их вытесали из деревяшки. Далеко не лучшая ее работа, наверно, поэтому она и повесила ее здесь, а не в спальне для гостей. Я бы с закрытыми глазами и то лучше вышила.

Трудно было начать разговор. В последние лет пятнадцать я мало беседовала, совсем не так, как в былые времена с Мэри Уитни, коробейником Джеремайей и Джейми Уолшем до того, как он меня предал. Да я и забыла, как надобно разговаривать. Я сказала доктору Джордану, что не знаю, чего он хочет от меня услышать. А он сказал: его интересует не то, что он хочет от меня услышать, а что я сама хочу сказать. Я ответила, что ничего такого не хочу и не пристало мне хотеть рассказывать.

– Теперь, Грейс, – сказал он, – вы должны постараться, мы заключили сделку.

– Да, сэр, – ответила я, – только мне в голову ничего не лезет.

– Значит, давайте поговорим о погоде, – сказал он. – Вам наверняка есть что сказать, ведь с этого обычно начинают разговор.

Я улыбнулась, но все равно застеснялась. Не привыкла я к тому, чтобы спрашивали мое мнение – даже о погоде, тем более мужчины с записными книжками. Меня расспрашивали только мистер Кеннет Маккензи, эсквайр – мой адвокат, – но я его боялась; и мужчины в зале суда и в тюрьме, но они были газетчиками и выдумывали про меня всякие небывицы.

Поскольку вначале я не могла поддержать разговор, доктор Джордан говорил сам. Он рассказывал мне о том, что сейчас везде строят железные дороги, о том, как кладут рельсы и как работают паровые двигатели. Это меня успокоило, и я сказала, что хотела бы прокатиться на таком поезде, и он ответил, что, возможно, когда-нибудь я на нем прокачусь. Но я возразила, что это вряд ли, ведь меня приговорили к пожизненному, да и никогда не знаешь, сколько тебе отмерено.

Потом он рассказал мне о своем родном городе – под названием Челноквилль, он находится в Соединенных Штатах Америки, – и сказал, что это ткацкий город, хоть и не такой процветающий, каким был раньше, пока не начали привозить дешевую материю из Индии. Он сказал, что его отец был когда-то владельцем мануфактуры, и на ней работали девушки из деревни. Отец содержал их в чистоте, и они жили в меблированных комнатах с приличными, рассудительными хозяйками. Пить не разрешали, иногда они слушали в гостиной фортепьяно, работали не больше двенадцати часов в день, а по воскресеньям ходили в церковь. От воспоминаний его глаза увлажнились, и я подумала, что, возможно, среди этих девушек у него была зазноба.

Потом он сказал, что девушек учили читать, и те издавали собственный журнал с литературными произведениями. Я спросила, что такое «литературные произведения», и он объяснил, что они писали рассказы и стихи и печатали их там.

– Под собственными фамилиями? – спросила я.

– Да, – ответил он. Я сказала, что это бесстыдство: разве молодых людей это не отпугивало? Кто захочет иметь такую жену, которая записывает всякие выдумки и представляет их всеобщему вниманию? У меня бы никогда не хватило на это смелости. Но он улыбнулся и ответил, что молодых людей это, очевидно, не волновало, потому что девушки откладывали свою заработную плату на приданое, а от приданого еще никто не отказывался. И я сказала, что когда они выйдут замуж, у них будет столько хлопот с детьми, что на писанину просто времени не останется.

Мне стало грустно – я вспомнила, что сама никогда не выйду замуж и у меня никогда не будет своих детей. Хотя в этом тоже есть свои преимущества: не хотелось бы мне нарожать девять или десять карапузов, а потом помереть, как это со многими случается. Но все равно жалко.

Когда грустно, лучше всего переменить тему. Я спросила, жива ли его матушка, и он ответил, что жива, только хворает. И я сказала, что ему повезло: его матушка еще жива, а моя

уже померла. Потом я снова сменила тему и сказала, что очень люблю лошадок, а он рассказал мне о лошадке Бесс, которая была у него детстве. И через какое-то время – не знаю, как это произошло, – я понемногу начала замечать, что могу с ним говорить без особого труда и даже придумываю, о чем.

В том же духе мы и продолжаем. Он задает вопрос, я отвечаю, а он записывает. В зале суда все мои слова как будто вырубали топором, и я знала: стоит мне что-нибудь сказать, и я никогда не смогу забрать свои слова обратно. Но все это были неправильные слова, потому что их полностью искажали, даже если вначале то была чистейшая правда. Так же и в Лечебнице с доктором Баннерлингом. Но сейчас я чувствую, что говорю правильные слова. Что бы я ни сказала, доктор Джордан улыбается, записывает и говорит, что я умница.

Пока он пишет, меня тянет к нему, вернее, не меня тянет, а он сам тянется ко мне и как бы пишет у меня на коже – но только не карандашом, а старинным гусиным пером, и не его ствол, а самим оперением. Словно бы сотни бабочек расселись у меня на лице, и они нежно складывают и расправляют крылья.

Но под этим чувством таится другое – очень внимательное и настороженное. Словно бы я проснулась посреди ночи оттого, что моего лица кто-то коснулся, сижу в постели, сердце бешено колотится, а вокруг никого. А под этим чувством еще одно скрывается – словно меня разорвали на части, но не как тело из плоти и крови, а как персик, потому что мне совсем не больно, и даже не разорвали, а просто я перезрела и треснула сама.

И внутри персика – косточка.

9

*От доктора медицины Самюэля Баннерлинга,
«У кленов», Фронт-стрит, Торонто, Западная Канада,
доктору медицины Саймону Джордану,
через миссис Уильям П. Джордан,
«Дом в ракитнике», Челноквилль, Массачусетс,
Соединенные Штаты Америки.
Переадресовано через майора Ч. Д. Хамфри,
Лоуэр-Юнион-стрит, Кингстон, Западная Канада.
20 апреля 1859 года*

Глубокоуважаемый доктор Джордан!

Я получил Ваш запрос к доктору Уоркмену от 2 апреля касательно осужденной Грейс Маркс и его записку с просьбой снабдить Вас имеющейся у меня дополнительной информацией.

Вынужден сразу же сообщить Вам, что я почти не встречался с доктором Уоркменом. По моему мнению, – а я работал в этой Лечебнице намного дольше, чем он, – его снисходительная политика вылилась в бесплодную затею: он пытается сшить из свиных ушей шелковые кошельки. Большинство страдающих тяжелыми нервно-мозговыми расстройствами неизлечимы, за ними можно лишь надзирать; и в этом отношении физические ограничения и наказания, строгая диета, банки и кровопускание, избавляющие от переизбытка животной энергии, доказали в прошлом свою эффективность. И хотя доктор Уоркмен утверждает, что в нескольких случаях, считавшихся ранее безнадежными, его результаты были положительными, эти предполагаемые исцеления, несомненно, окажутся в будущем поверхностными и временными. Вирус безумия растворен в крови, и его нельзя удалить с помощью фланельки да мягкого мыла.

Доктор Уоркмен имел возможность обследовать Грейс Маркс лишь несколько недель, под моим же присмотром она оставалась более года, и поэтому его заключение о характере больной не может иметь большой ценности. Однако он оказался достаточно проникновен, чтобы установить один существенный факт: Грейс Маркс только притворялась душевнобольной. К этому же мнению я пришел и сам, но тогдашняя администрация не захотела принять его во внимание. Постоянное наблюдение за пациенткой и за ее хитроумными выходками позволило мне сделать вывод, что на самом деле она не умалишенная, а преднамеренно и самым возмутительным образом пытается ввести меня в заблуждение. Откровенно говоря, ее безумие было обманом и надувательством, и она симулировала его, потакая и заставляя всех остальных потакать своим желанием, поскольку ее не устраивал строгий режим исправительного учреждения, куда она была помещена в качестве заслуженного наказания за свои зверские преступления.

Она превосходная актриса и весьма искусная лгунья. Находясь у нас, она развлекала себя мнимыми припадками, галлюцинациями, дурачествами, залившимся пением и т. п., и для исполнения роли Офелии ей не хватало лишь вплетенных в волосы полевых цветов. Впрочем, она прекрасно обходилась и без них, поскольку ей удалось обмануть не только достойную миссис

Муди, которая, подобно многим другим великодушным женщинам, готова поверить в любую мелодраматическую чушь, лишь бы та была достаточно трогательной (ее неточный, истерический отчет обо всей этой грустной истории Вы, несомненно, читали), но и нескольких моих коллег. Последнее служит замечательной иллюстрацией старинного правила: когда миловидная женщина входит в дверь, здравый смысл улетучивается в окно.

Если же Вы, тем не менее, решитесь осмотреть Грейс Маркс в ее нынешнем месте проживания, то позвольте серьезно Вас предостеречь. Многие Ваши старшие и умудренные опытом товарищи попадались в ее сети, и советую Вам заткнуть уши воском, как Улисс приказал заткнуть их своим морякам, дабы не слышать пения Сирен. Она лишена морали в той же мере, в какой ее не обременяет совесть, и постарается использовать все, что попадется ей под руку.

Я также должен Вас предупредить: коль скоро Вы впутались в это дело, Вас начнет осаждать толпа благожелательных, но слабоумных персон обоего пола, включая священнослужителей, выступающих в защиту осужденной. Они заваливают правительство прошениями об ее освобождении и попытаются во имя милосердия заручиться Вашей поддержкой. Мне приходилось неоднократно указывать им на дверь, сообщая при этом, что Грейс Маркс заключена в тюрьму по очень веской причине: за совершенные ею жестокие преступления, продиктованные ее развращенным нравом и болезненным воображением. Выпустить ее на свободу было бы в высшей степени безответственным шагом, поскольку тем самым она просто получила бы возможность потворствовать своим кровожадным наклонностям.

Я твердо убежден, что если Вы все же пожелаете изучать этот вопрос далее, то придете к тем самым выводам, к которым уже пришел

Ваш покорный слуга,
Д-р Самюэль Баннерлинг (доктор медицины).

10

Сегодня утром Саймон встречается с преподобным Верринджером. Он не ждет от этой встречи ничего хорошего: священник учился в Англии и обязательно начнет важничать. Самые несносные глупцы – это глупцы образованные, и в собственное оправдание Саймону придется продемонстрировать свои европейские рекомендации и блеснуть эрудицией. Свидание будет докучливым, Саймону захочется растягивать слова, говорить «*по моим прикидкам*» и пользоваться британским колониальным вариантом деревянно-мускатно-торгашеского говора янки, чтобы только позлить собеседника. Впрочем, нужно держать себя в руках: слишком многое зависит от его примерного поведения. Он постоянно забывает, что уже давно перестал быть богачом, который сам себе хозяин.

Он стоит перед зеркалом, пытаясь завязать галстук. Саймон ненавидит галстуки и шейные платки, ему хотелось бы послать их все к черту; он возмущается также брюками и вообще любой приличной жесткой одеждой. Зачем цивилизованный человек мучает свое тело, запиная его в смирительную рубашку джентльменского платья? Наверное, для смирения плоти, вместо власяницы. Мужчины должны рождаться в маленьких шерстяных костюмчиках, которые с годами будут расти. Это позволило бы избежать общения с вечно суетливыми и недобросовестными портными.

Хорошо, что он хоть не женщина и не обязан носить корсеты и уродовать себя тугой шнуровкой. К широко распространенному мнению о том, что женщины – бесхребетные, студенистые существа, которые расплылись бы на полу, подобно плавленому сыру, если бы их не обвязывали веревками, Саймон испытывал лишь презрение. За годы учебы он вскрыл немало женских трупов, – из трудящихся, разумеется, классов, – и позвоночник с мускулатурой были у них в среднем ничуть не слабее, чем у мужчин, хотя многие страдали рахитом.

Ему с трудом удалось завязать галстук «бабочкой». Правда, немного перекошенной, однако на большее он не способен: он больше не может позволить себе камердинера. Саймон расчесывает непослушные пряди, которые сразу же начинают топорщиться опять. Затем берет пальто и, поразмыслив, зонтик. В окно пробивается слабый солнечный свет, но это вовсе не означает, что дождя не будет. По весне Кингстон – место слякотное.

Он пытается незаметно спуститься по парадной лестнице, но ему это не удастся: хозяйка решила перехватить его, чтобы обсудить какой-то пустяк, и теперь бесшумно выплывает из гостиной в своем выцветшем черном кружевном воротничке, сжимая в тонкой руке привычный носовой платок, как будто глаза у нее всегда на мокром месте. Видимо, не так давно она была красавицей и оставалась бы ею, если бы прикладывала для этого хоть малейшие усилия и если бы ее светлые волосы не были так сурово расчесаны на прямой пробор. Лицо у нее сердечком, кожа – молочно-белая, глаза – большие и умоляющие. Хотя у нее стройная талия, в ней чувствуется что-то металлическое, словно бы вместо корсета она втискивается в короткую дымовую трубу. Сегодня на ее лице – привычная утрированная тревога; от нее пахнет фиалками, камфарой, – наверняка она склонна к мигреням, – и еще чем-то, Саймон не понимает, чем. Горячий сухой запах. Выглаженной белой простыней?

Саймон, как правило, избегает измотанных, слегка помешанных женщин такого типа, хотя к врачам их притягивает как магнитом. Впрочем, в ней все же есть строгая безыскусная грация, будто у квакерского молитвенного дома. Но это всего лишь эстетическая привлекательность. Нельзя же заниматься любовью с небольшим культовым сооружением!

– Доктор Джордан, – говорит она. – Я хотела спросить вас...

Она медлит. Саймон улыбается, словно подбадривая ее.

– Вы довольны сегодняшним яйцом? Я сварила его сама.

Саймон лжет. Правда прозвучала бы непростительно грубо.

– Было очень вкусно, спасибо, – говорит он.

В действительности яйцо напоминало своей консистенцией вырезанную опухоль, которую студент-однокашник однажды в шутку положил ему в карман, – такое же тугое и одновременно рыхлое. Чтобы так поиздеваться над яйцом, нужно обладать извращенным талантом.

– Я очень рада, – говорит она. – Так трудно найти хорошую прислугу. Вы уходите?

Это настолько очевидно, что Саймон лишь кивает головой.

– Вам еще одно письмо, – говорит она. – Служанка затеряла его, но я нашла. Я положила его на стол в холле.

Она произносит это с дрожью в голосе, словно бы любое письмо к Саймону должно иметь трагическое содержание. Ее губы выпячены, но они дрожат, словно готовая вот-вот опасть роза.

Саймон благодарит ее, прощается, забирает письмо, – оно от матери, – и уходит. Он не желает давать повод к долгим беседам с миссис Хамфри. Она одинока (как не быть одинокой с таким мужем, как этот отупевший от пьянства, непутевый майор?), а одиночество для женщины – что голод для собаки. У него нет ни малейшей охоты на исходе дня выслушивать ее скорбные признания в гостиной с задернутыми шторами.

Тем не менее она – интересный предмет изучения. Так, например, у нее очень возвышенное представление о себе самой, не соответствующее ее нынешнему положению. В детстве у нее наверняка была гувернантка: это заметно по осанке. Она казалась такой суровой и привередливой, когда Саймон договаривался об арендной плате, что он постеснялся спросить, включена ли в нее стирка. Судя по ее манерам, она не привыкла обсуждать с мужчинами состояние их личных вещей, возлагая решение этого щекотливого вопроса на слуг.

Она ясно, хоть и косвенно дала понять, что вынуждена сдавать жилье против своей воли. Она делает это впервые, в связи с затруднениями, которые наверняка окажутся временными. Более того, она была весьма разборчива – в ее объявлении значилось: *«Джентльмен со спокойным характером, согласный столоваться в другом месте»*. И когда Саймон, осмотрев комнаты, сказал, что хотел бы их снять, она вначале колебалась, а затем попросила заплатить за два месяца вперед.

Саймон осматривал и другие предлагаемые жилища, но они оказывались либо слишком дорогими для него, либо гораздо более грязными, и поэтому он согласился на это. У него с собой имелась необходимая сумма наличными. Он с интересом отметил смешанное чувство отвращения и нетерпения, которое выказала хозяйка, а также нервный румянец на щеках, вызванный этой сценой. Тема была для нее неприятной, почти неприличной, она не хотела притрагиваться к деньгам голыми руками и предпочла бы, чтобы он вложил их в конверт. И все же ей пришлось сдержаться, чтобы не выхватить их у Саймона.

Почти такое же отношение – застенчивость при денежных расчетах, желание сделать вид, будто на самом деле ничего не происходит, и затаенная алчность – отличало французских проституток классом повыше, хотя они были менее бестактными. Саймон не считал себя авторитетом в данной области, но он изменил бы своему призванию, если бы не воспользовался предоставляемыми Европой возможностями, ведь в Новой Англии подобные услуги были практически недоступны и не столь разнообразны. Чтобы лечить людей, необходимо их знать, но нельзя узнать их издали; нужно водить с ними компанию. Он считал своим профессиональным долгом исследовать изнанку жизни, и хотя пока не сильно в этом преуспел, начало, во всяком случае, было положено. Разумеется, он принимал надлежащие меры предосторожности, чтобы не подцепить скверной болезни.

На улице Саймон встречает майора, который пристально, будто сквозь густую пелену, смотрит на него. Глаза красные, галстук съехал набок, одной перчатки нет. Саймон пытается представить, как протекает майорский запой и сколько он уже продолжается. Вероятно, когда

уже нельзя потерять доброе имя, появляется определенная свобода. Саймон кивает и приподнимает шляпу. Майор смотрит с оскорбленным видом.

Саймон отправляется пешком к резиденции преподобного Верринджера на Сайденхем-стрит. Он не нанял экипажа или хотя бы лошади: расходы себя не оправдали бы, ведь Кингстон – городишко небольшой. Улицы грязны и завалены конским навозом, но у Саймона отличные сапоги.

Дверь внушительного особняка открывает пожилая женщина с лицом, похожим на сосновую доску: преподобный отец не женат и нуждается в безупречной экономке. Саймона проводят в библиотеку. Эта библиотека вызывает у него такое стеснение, что ему настоятельно хочется ее поджечь.

Преподобный Верринджер поднимается из кожаного кресла с подголовником и протягивает ему руку. Хотя волосы и кожа у него одинаково тонкие и бледные, рукопожатие – на удивление крепкое. Ротик до обидного маленький, губки надутые (как у головастика, думает Саймон), но римский нос указывает на сильный характер, выпуклый лоб – на развитый интеллект, а глаза ясные и пронизательные, хоть и немного навывкате. Ему не больше тридцати пяти, и, наверное, у него хорошие связи, думает Саймон, если он так быстро продвинулся по методистской служебной лестнице и привлек столь многочисленную паству. По количеству книг можно судить, что у него водятся деньги. У Саймонова отца тоже были книги.

– Рад, что вы пришли, доктор Джордан, – говорит он; голос у него не такой медоточивый, как опасался Саймон. – Очень любезно с вашей стороны, что пожаловали к нам. Ведь ваше время, должно быть, бесценно.

Они садятся, экономка с дощатым лицом приносит кофе. Рисунок на подносе простой, но сам он серебряный. Чисто методистский поднос: неброский, но спокойно подтверждающий свою ценность.

– Этот вопрос представляет для меня огромный профессиональный интерес, – говорит Саймон. – Не часто попадаются случаи с таким множеством интригующих деталей.

Он говорит с таким видом, будто бы через его руки прошли сотни пациентов. Главное – выглядеть заинтересованным, но не проявлять излишнего нетерпения, вести себя так, словно он сам делает одолжение. Саймон надеется, что не покраснел.

– Своим отчетом вы оказали бы значительную помощь Комиссии, – говорит преподобный Верринджер, – если он подтвердит предположение о невинности. Мы приложили бы его к своему прошению, ведь в наши дни правительство более склонно принимать во внимание мнение знатока. Ну и конечно, – добавил он, пронизательно посмотрев на Саймона, – каким бы ни было ваше заключение, вам заплатят условленную сумму.

– Я все понимаю, – отвечает Саймон с учтивой, как он надеется, улыбкой. – Полагаю, вы учились в Англии?

– Я начал исполнять свое призвание в Государственной Церкви, – говорит преподобный Верринджер, – но затем пережил духовный кризис. Свет Слова Божьего и его благодать, несомненно, доступны и тем, кто не состоит в англиканской церкви²⁰, и могут быть обретены путем более непосредственным, нежели литургия.

– Очень хотелось бы на это надеяться, – вежливо соглашается Саймон.

– Его преподобие Эджертон Райерсон из Торонто²¹ следует этому же направлению. Он возглавляет крестовый поход за бесплатное школьное образование и запрет алкогольных напитков. Вы, конечно, о нем слышали.

²⁰ Англиканская церковь – одна из протестантских церквей; государственная церковь в Англии. Возникла в период Реформации в XVI в. По культу и организационным принципам близка католической. Церковную иерархию возглавляет король.

²¹ Адольфус Эджертон Райерсон (1803–1882) – канадский священник, политик, писатель и деятель образования из провинции Онтарио.

Саймон о нем не слышал. Он издает двусмысленное «гм», которое, как он рассчитывает, сойдет за согласие.

– Вы сами какого вероисповедания?

Саймон увильивает от ответа:

– Мой отец был квакером, – говорит он. – Его семья много лет состояла в этой церкви. А мать принадлежит к унитариям²².

– Ясно, – подхватывает преподобный Верринджер, – в Соединенных Штатах все иначе. Наступает пауза; собеседники обдумывают сказанное.

– Но вы же верите в бессмертие души?

Это коварный вопрос – ловушка, от которой зависит его судьба.

– Ну да, разумеется, – отвечает Саймон. – Как в этом можно сомневаться.

Верринджеру, кажется, полегчало:

– Многих ученых мужей одолевают сомнения. Тело оставьте врачам, говорю я, а душу – Богу. Как говорится, кесарю кесарево.

– Безусловно, безусловно.

– Доктор Бинсвангер очень высоко о вас отзывался. Я имел удовольствие встретиться с ним, путешествуя по континенту: Швейцария представляет для меня большой интерес с точки зрения истории, – и говорил с ним о его работе. Поэтому, естественно, я обратился к нему за советом, когда стал искать крупного специалиста по эту сторону Атлантики. Такого, – он запнулся, – который оказался бы нам по средствам. Доктор Бинсвангер заявил, что вы хорошо разбираетесь в нервно-мозговых заболеваниях и что в вопросах амнезии вы скоро станете ведущим специалистом. Он утверждает, что вы подаете большие надежды.

– Весьма любезно с его стороны, – бормочет Саймон. – Это очень сложная область. А я опубликовал лишь пару-другую небольших статей.

– Будем надеяться, что по завершении своих исследований вы сможете пополнить их число и пролить свет на эти непостижимые тайны. И я уверен, что общество удостоит вас заслуженного признания. Это, в первую очередь, касается данного нашумевшего дела.

Саймон отмечает про себя, что хотя у преподобного Верринджера рот, как у головастика, сам он далеко не дурак. У него нюх на честолюбивые планы других людей. Наверное, его переход из англиканской церкви в методистскую не случайно совпал по времени с политическим закатом первой и восхождением второй в Канаде?

– Вы прочитали высланный мною отчет?

Саймон кивает.

– Я понимаю, что вы стоите перед дилеммой, – говорит он. – Не знаете, чему же вам верить. Ведь на следствии Грейс, похоже, рассказала одну историю, на суде – другую, а после того, как ее смертный приговор заменили пожизненным заключением, – вообще третью. Впрочем, во всех трех случаях она утверждала, что и пальцем не тронула Нэнси Монтгомери. Однако несколько лет спустя появляется отчет миссис Муди, где приведено, по сути, признание Грейс в том, что она действительно совершила данное деяние. И этот рассказ не противоречит последним словам Джеймса Макдермотта перед казнью. Однако вы говорите, что после возвращения из больницы она это отрицала.

Преподобный Верринджер отпивает кофе.

– Она говорит, что ничего не помнит, – произносит он.

– Ах не помнит, – говорит Саймон. – Тонкий нюанс.

²² Унитарии – антиринитарии-протестанты. Вместе с догматом о Троице отвергали церковное учение о грехопадении, таинства (в т. ч. признаваемые протестантами). Преследовались и католиками, и ортодоксальными протестантами. В XVII в. обосновались в Англии, с первой половины XIX в. центр движения переместился в США.

– Ее вполне могли убедить в том, что она совершила преступление, в котором не повинна, – поясняет преподобный Верринджер. – Такое и раньше случалось. Так называемое «Признание», столь красочно описанное миссис Муди, имело место после многолетнего заключения в исправительном доме, при установленном его комендантом Смитом режиме. Общеизвестно, что это был растленный человек, совершенно не подходивший для своей должности. Его обвиняли в крайне грубом, отвратительном поведении: так, например, сыну его разрешалось стрелять в осужденных, как по мишеням, и однажды сынок даже выбил кому-то глаз. Ходили также слухи о жестоком обращении с заключенными женского пола, и можете себе представить, какие формы оно принимало. Боюсь, это не вызывает никаких сомнений, поскольку было проведено тщательное расследование. Я объясняю временное умопомешательство Грейс Маркс именно этим дурным обращением.

– Но кое-кто отрицает ее умопомешательство, – возражает Саймон.

Преподобный Верринджер улыбается:

– Наверное, вы имеете в виду доктору Баннерлинга. Он был настроен против нее с самого начала. Наша комиссия обратилась к нему, ибо его благоприятный отзыв оказал бы неоценимую помощь нашему делу, но доктор остался непреклонен. Что же вы хотите от закоренелого тори: дать ему волю, он бы приковал бедных сумасшедших цепями к кроватям и вешал бы каждого, кто косо на него посмотрит. К сожалению, должен признаться, я считаю его представителем той растленной системы, что ответственна за назначение на должность коменданта столь грубого и невежественного человека, как Смит. Я понимаю, что в Лечебнице не обошлось без злоупотреблений: после возвращения Грейс Маркс даже высказывались подозрения, что она – в деликатном положении. К счастью, все эти слухи оказались безосновательными. Но какое малодушие, какая бессердечность – пытаться совратить не владеющих собой несчастных женщин! С Грейс Маркс я провел много времени в молитвах, стараясь залечить раны, что были нанесены ей этими вероломными и заслуживающими порицания изменниками, обманувшими общественное доверие.

– Весьма прискорбно, – отмечает Саймон. О подробностях выспрашивать нельзя – сочтет за нездоровое любопытство.

И вдруг его осеняет – преподобный Верринджер влюблен в Грейс Маркс! Отсюда его негодование, его горячность, его настойчивые прошения и комиссии и прежде всего – вера в ее невиновность. Возможно, ему хочется вытащить ее из тюрьмы, полностью ее оправдав, а затем на ней жениться? Она все еще недурна собой и наверняка будет испытывать к своему избавителю трогательную признательность. Униженную признательность. Ведь на духовной бирже Верринджера униженная признательность – несомненно, товар наипервейший.

– К счастью, произошла смена правительства, – говорит преподобный Верринджер. – Но мы все равно не желаем давать ход своему нынешнему прошению, пока не убедимся, что прочно стоим на ногах. Поэтому мы и решили обратиться к вам. Не стану от вас скрывать – далеко не все члены комиссии поддержали это решение, но мне удалось убедить их в необходимости получить объективное заключение компетентного специалиста. Например, диагноз о скрытом умопомешательстве в момент совершения убийств. Впрочем, следует соблюдать величайшую осторожность и честность. Общество в целом настроено против Грейс Маркс, ведь Канада – очень фанатичная страна. Очевидно, тори путают дело Грейс с «ирландским вопросом»²³, хоть она и протестантка, и принимают убийство одного джентльмена-тори, – каким бы достойным ни был этот джентльмен и каким бы прискорбным ни было это убийство, – за общенародное восстание.

²³ «Ирландский вопрос» – проблема, связанная с борьбой Ирландии за независимость от Великобритании. В 1921 г. закончилась Ирландской гражданской войной и разделением страны на Северную Ирландию, оставшуюся в составе Соединенного Королевства, и независимую Ирландскую Республику.

– Каждую страну раздирают разногласия, – тактично замечает Саймон.

– Но даже если оставить это в стороне, – продолжает преподобный Верринджер, – мы стоим перед выбором: возможно, та, кого многие считают виновной, невиновна – или, возможно, та, кого некоторые считают невиновной, виновна. Нам не хотелось бы давать противникам реформ повод для новых нападков. Но, как речет Господь, «истина сделает вас свободными»²⁴.

– Истина может оказаться неожиданной, – говорит Саймон. – Возможно, то, что мы привыкли называть злом – причем злом, совершённым по собственной воле, – является всего лишь заболеванием, вызванным каким-либо поражением нервной системы, а сам Дьявол – просто некий порок головного мозга.

Преподобный Верринджер улыбается.

– Сомневаюсь, что до этого дойдет, – говорит он. – Каких бы достижений ни добилась наука в будущем, Дьявол всегда пребудет на свободе. Полагаю, вы приглашены в воскресенье к коменданту?

– Да, я удостоился этой чести, – вежливо отвечает Саймон: он-то намеревался вежливо отказаться.

– С радостью увижусь там с вами, – говорит преподобный Верринджер. – Я сам устроил для вас приглашение. Изумительная супруга коменданта – бесценный член нашей комиссии.

²⁴ Иоан. 8:32.

11

В доме коменданта Саймона проводят в гостиную, которую, судя по ее внушительным размерам, вполне можно назвать парадной. Стены и мебель обиты материей цвета человеческих внутренностей – темно-бордовых почек, пурпурно-красных сердец, темно-синих вен, желтовато-белых зубов и костей. Он представляет, какой фурор мог бы произвести, если бы высказал это *aperçu*²⁵ вслух.

Его приветствует жена коменданта. Это интересная женщина лет сорока пяти, весьма представительная, но одетая в лихорадочно-провинциальном стиле. Здешним барышням, очевидно, кажется, что если один ряд кружев и рюшей – это хорошо, три ряда – еще лучше. У нее встревоженный взгляд и слегка выпученные глаза, что свидетельствует либо о повышенной нервозности, либо о заболевании щитовидной железы.

– Я так рада, что вы удостоили нас своим посещением, – говорит она. Сообщает ему, что комендант, к сожалению, уехал по делам, но сама она живо интересуется его работой. Она с большим уважением относится к современной науке, особенно – к современной медицине, где совершенно так много открытий. Например, эфир, который избавляет людей от стольких страданий. Она пристально смотрит на него тяжелым, многозначительным взглядом, и Саймон про себя вздыхает. Это выражение лица ему хорошо знакомо: хоть ее никто не просил, жена коменданта собирается поведать ему о своих симптомах.

Получив медицинскую степень, Саймон был еще не готов к тому впечатлению, которое она производит на женщин из высшего общества – особенно замужних леди с безупречной репутацией. Их притягивало к нему, словно бы он обладал каким-то бесценным и при этом дьявольским сокровищем. Эти женщины проявляли невинный интерес, вовсе не собираясь приносить ему в жертву свою добродетель, но стремились заманить его в темный уголок, побеседовать с ним вполголоса и робко, с дрожью в голосе, – ведь он внушал им еще и страх, – поверить свои тайны. В чем же секрет его привлекательности? Вряд ли дело в лице, – не уродливом, но и не красивом, – которое он видел в зеркале.

Через некоторое время он понял. Они жаждали знания – хоть и не признавались, ведь то было запретное знание со зловещим привкусом, знание, которое обретают, спускаясь в преисподнюю. Он побывал там, куда им никогда не попасть, видел то, чего им никогда не увидеть. Он вскрывал женские трупы и заглядывал внутрь. Быть может, в руке, которой Саймон только что подносил их руки к своим губам, он когда-то держал бьющееся женское сердце.

Иными словами, он входит в мрачную троицу: врач, судья, палач – и разделяет с ними власть над жизнью и смертью. Потерять сознание и бесстыдно лежать обнаженной, сдавшись на его милость, чтобы он их касался, разрезал, потрошил и снова зашивал, – вот о чем они думают, когда смотрят на него своими широко раскрытыми глазами, слегка приоткрыв рот.

– Я испытываю ужасные страдания, – начинает жена коменданта. Застенчиво, словно показывая лодыжку, она пересказывает симптомы: учащенное дыхание, спазмы в груди, – намекая, что есть и другие, более выраженные. У нее болит... Нет, ей не хотелось бы говорить, где именно. Какова бы могла быть причина этой боли?

Саймон улыбается и отвечает, что больше не занимается общей практикой.

Мгновенно подавив недовольство, жена коменданта тоже улыбается и говорит, что хотела бы познакомить его с миссис Квеннелл, знаменитой спириткой, борющейся за расширение прав женщин, руководительницы их вторничного дискуссионного кружка, а также спиритических четвергов. Человек редких достоинств, она также повидала мир – бывала в Бостоне и других городах. В своей огромной юбке на кринолине миссис Квеннелл напоминает лавандовое

²⁵ Мимолетное впечатление (*фр.*).

желе со взбитыми сливками, и возникает впечатление, будто у нее на голове сидит маленький серый пудель. Она, в свою очередь, представляет Саймона доктору Джерому Дюпону из Нью-Йорка, который как раз сейчас у нее гостит и обещает продемонстрировать свои замечательные способности. Он очень известный человек, добавляет миссис Квеннелл, и в Англии останавливался у членов королевской семьи. Ну, возможно, не совсем королевской, но безусловно аристократической.

– Замечательные способности? – вежливо переспрашивает Саймон. Хотелось бы узнать, что это за способности. Возможно, этот малый утверждает, что умеет левитировать и в него вселяется дух мертвого индейца или же он производит спиритические стуки, как знаменитые сестры Фокс²⁶. Спиритизм – повальное увлечение среднего класса, особенно дам. Подобно тому как их бабушки играли в вист, современные женщины собираются в темных комнатах и занимаются столоверчением или «автоматически» записывают объемистые послания, продиктованные Моцартом либо Шекспиром. В последнем случае загробная жизнь необычайно ухудшает слог, отмечает про себя Саймон. Если бы все эти люди не были такими состоятельными, они загремели бы в сумасшедший дом. А между тем они наводняют свои гостиные факирами и шарлатанами, облаченными в неряшливые тоги самопровозглашенной святости, а принятые в обществе правила предписывают учтиво с ними обходиться.

У доктора Джерома Дюпона глубоко посаженные, водянистые глаза и напряженный взгляд профессионального шарлатана, но он грустно улыбается и недоуменно пожимает плечами.

– Боюсь, не такие уж и замечательные, – говорит он. У него легкий иностранный акцент. – Это просто иной язык: если вы им владеете, то принимаете все как должное. Другие же находят ваши способности замечательными.

– Вы общаетесь с покойниками? – спрашивает Саймон, и его губа дергается в нервном тике.

Доктор Дюпон улыбается:

– Нет, что вы! – отвечает он. – Меня можно назвать практикующим врачом. Или пытливым исследователем вроде вас. Я изучал нейрогипноз в школе Джеймса Брейда²⁷.

– Я слышал о нем, – говорит Саймон. – Шотландец, по-моему? Кажется, он большой авторитет по косолапости и страбизму. Но официальная медицина, разумеется, не признает прочих его утверждений. Разве нейрогипноз – это не реанимированный труп развенчанного животного магнетизма Месмера²⁸?

– Месмер исходил из ошибочного предположения, будто тело окружено магнетическим флюидом, – возражает доктор Дюпон. – Методы же Брейда касаются исключительно нервной системы. Я мог бы добавить, что те, кто их оспаривает, просто никогда не проверяли их на практике. Эти методы получили более широкое признание во Франции, где врачи менее склонны малодушно следовать общепринятым мнениям. Разумеется, нейрогипноз приносит наибольшую пользу в случаях истерии, и переломанную ногу с его помощью не выправишь. Но в случаях амнезии, – он едва заметно улыбнулся, – эти методы часто давали поразительные и, можно даже сказать, ошеломляющие результаты.

Саймон чувствует, что находится в невыгодном положении, и меняет тему разговора:

– Дюпон – это французская фамилия?

²⁶ См. послесловие автора.

²⁷ Джеймс Брейд (1795–1860) – шотландский ученый, зачинатель современного гипноза. Нейрогипноз – предложенная им форма гипноза, действующего непосредственно на центральную нервную систему человека.

²⁸ Франц Антон Месмер (1734–1815) – немецкий врач, богослов и астролог, исследователь «животного магнетизма».

– Я из семьи французских протестантов, – отвечает доктор Дюпон. – Но только по линии отца. Он был химиком-любителем. Сам же я – американец. Но, конечно, посещал Францию в связи со своей профессиональной деятельностью.

– Возможно, доктор Джордан захочет присоединиться к нашей компании? – перебивает их миссис Квеннелл. – Я имею в виду наши спиритические четверги. Нашей милой комендантше так утешительно сознавать, что ее малыш, находящийся теперь в мире ином, здоров и счастлив. Я уверена, что вы, доктор Джордан, скептик, но мы всегда рады скептикам!

Крошечные блестящие глазки под прической-пуделем шаловливо ему подмигивают.

– Я не скептик, – возражает Саймон, – а просто врач.

Он не желает втягиваться в какую-то компрометирующую, вздорную затею. Интересно, о чем думал Верринджер, принимая эту женщину в свою комиссию? Очевидно, она богата.

– Целитель, исцелился сам, – изрекает доктор Дюпон. Кажется, шутит.

– Какую позицию вы занимаете в вопросе аболиционизма, доктор Джордан? – спрашивает миссис Квеннелл. Теперь эта женщина, превратившись в интеллектуалку, развернет ожесточенную политическую дискуссию и наверняка прикажет ему сию же секунду отменить рабство на Юге. Саймону осточертело постоянно выслушивать персональные обвинения во всех грехах собственной страны, особенно от этих британцев, которые, видимо, полагают, что их недавно проснувшаяся совесть может служить оправданием того, что раньше никакой совести у них не было. На чем же покоится их нынешнее богатство, если не на работорговле? И что стало бы с их крупными ткацкими центрами, если бы не южный хлопок?

– Мой дедушка был квакером, – говорит Саймон. – В детстве меня учили никогда не отпирать дверь чулана, потому что там мог прятаться какой-нибудь беглый невольник. Дедушка говорил: «Одно дело – постоянно рисковать своей жизнью, и совсем другое – лаять на прохожих из-за высокого забора».

– Стены из камня – еще не тюрьма, – весело приговаривает миссис Квеннелл.

– Но все ученые должны обладать непредубежденным умом, – добавляет доктор Дюпон, очевидно, продолжая предыдущий разговор.

– Я уверена, что ум доктора Джордана свободен от любых предубеждений, – говорит миссис Квеннелл. – Говорят, вы интересуетесь нашей Грейс? С духовной точки зрения.

Саймону ясно, что если он попытается объяснить разницу между духовностью в ее понимании и бессознательным в своем понимании, то безнадежно запутается. Поэтому он просто улыбается и кивает.

– Что вы собираетесь предпринять? – спрашивает Дюпон. – Чтобы восстановить утраченные воспоминания?

– Я начал с метода, основанного на внушении и ассоциации идей, – отвечает Саймон. – Пытаюсь мягко, постепенно восстановить мыслительную цепочку, которая прервалась, возможно, вследствие потрясения от тех бурных событий, в которые была вовлечена эта женщина.

– Вот оно что! – восклицает доктор Дюпон с улыбкой превосходства. – Значит, вы медленно, но уверенно движетесь к победе!

Саймону хочется дать ему пинка.

– Мы уверены, что она невиновна, – говорит миссис Квеннелл. – Все члены нашей комиссии! Мы просто убеждены в этом! Преподобный отец Верринджер подготавливает прошение. Оно уже не первое, но мы надеемся на успех. Наш девиз – «Снова на брешь!», – и она по-девичьи вихляет всем телом. – Скажите, что вы за нас!

– Если, конечно, вы сами не добились покуда успеха, – торжественно говорит доктор Дюпон.

– Я еще не пришел к каким-либо результатам, – возражает Саймон. – Во всяком случае, меня интересует не столько ее вина или ее невинность, сколько...

– ...Сколько действующие механизмы, – заканчивает доктор Дюпон.

– Я бы выразился немного иначе, – говорит Саймон.

– Вас занимает не мелодия музыкальной шкатулки, а винтики и шестеренки внутри нее.

– А вас? – спрашивает Саймон, начиная проявлять интерес к доктору Дюпону.

– Меня не занимает шкатулка с красивым рисунком на крышке, – отвечает Дюпон. – Для меня важна лишь музыка. Ее извлекает физический предмет, но музыка не является самим этим предметом. Как сказано в Писании: «Дух дышит, где хочет»²⁹.

– Евангелие от Иоанна, – подхватывает миссис Квеннелл. – Рожденное от Духа есть дух.

– А рожденное от плоти есть плоть³⁰, – добавляет Дюпон.

Оба они заглядывают Саймону в глаза со спокойным, однако неоспоримым ликованием, и кажется, будто его душат подушкой.

– Доктор Джордан, – слышится сбоку тихий голосок. Это мисс Лидия, одна из дочерей коменданта. – Матушка прислала меня спросить, вы не видели еще ее альбома?

Саймон мысленно благодарит хозяйку и отвечает, что пока не имел такого удовольствия. Рассматривать унылые гравюры с живописными видами Европы, окаймленные бумажными листьями папоротника, – такая перспектива его обычно не прельщает, но в данный момент это его единственное спасение. Он с улыбкой кивает, и его уводят.

Мисс Лидия усаживает его на диванчик цвета человеческого языка, потом берет с соседнего столика тяжелый альбом и устраивается рядом:

– Матушка подумала, что это может быть вам интересно – ведь вы занимаетесь Грейс.

– Вот как? – восклицает Саймон.

– Здесь собраны все знаменитые убийства, – поясняет мисс Лидия. – Матушка вырезает их и вклеивает сюда, вместе с казнями.

– Неужели? – удивляется Саймон. Так она не только ипохондрик, но еще и упырь, что наслаждается чужим горем.

– Это помогает ей находить среди заключенных объект, достойный ее милосердия, – говорит мисс Лидия. – Вот Грейс. – Она раскрывает альбом у себя на коленях и с серьезным, наставительным видом подается к Саймону: – Она меня интересуется. У нее замечательные способности.

– Как у доктора Дюпона? – спрашивает Саймон.

Мисс Лидия изумленно смотрит на него:

– Нет, что вы! Я в этом не участвую. Я никогда бы не разрешила себя гипнотизировать, это так неприлично! Я хотела сказать, что Грейс замечательно шьет.

В ней есть сдерживаемое озорство, думает Саймон: улыбаясь, девушка обнажает нижние и верхние зубы. Но, в отличие от своей матери, она, по крайней мере, здраво рассуждает. Здоровый молоденький зверек. Саймон замечает ее белую шейку, обвязанную скромной ленточкой с розовым бутоном, как и приличествует незамужней девушке. Сквозь несколько слоев тонкой материи ее рука прижимается в его руке. Он не бесчувственный чурбан, и хотя характер мисс Лидии, как и у всех девушек ее возраста, видимо, еще не сформировался, у нее очень изящная талия. От нее пахнет ландышем, и благоухание окутывает Саймона ароматным флером.

Однако мисс Лидия, должно быть, не догадывается о том, какое впечатление она производит на Саймона, поскольку еще не знакома с природой этого впечатления. Он закидывает ногу на ногу.

– Вот казнь, – говорит мисс Лидия. – Казнь Джеймса Макдермотта. О ней писали в ряде газет. Это вырезка из «Экзаминера».

Саймон читает:

²⁹ Иоан. 3:8.

³⁰ Иоан. 3:6.

Какую болезненную тягу к подобным зрелищам, вероятно, испытывает общество, если такая огромная толпа, учитывая нынешнее состояние наших дорог, собралась для того, чтобы стать свидетелями предсмертной агонии несчастного, хоть и преступного своего собрата! Можно ли предположить, что такого рода зрелища улучшают общественную нравственность или подавляют склонности к совершению чудовищных злодеяний?

– Готов с этим согласиться, – говорит Саймон.

– Мне тоже хотелось бы присутствовать, – говорит мисс Лидия. – А вам?

Саймон захвачен такой непосредственностью врасплох. Он не одобряет публичных казней, вызывающих кровавые фантазии среди излишне впечатлительной части населения. Но он хорошо себя знает: если бы такая возможность представилась, любопытство взяло бы верх над угрызениями совести.

– Возможно. Из профессионального интереса, – осторожно замечает он. – Но если бы у меня была сестра, я не позволил бы ей туда идти.

Глаза мисс Лидии распахиваются от изумления:

– Но почему?

– Женщинам не следует наблюдать столь жуткие зрелища, – говорит он. – Это опасно для их утонченных натур.

И сам понимает, что его слова звучат фальшиво.

В странствиях он сталкивался со многими женщинами, в которых едва ли можно было заподозрить утонченную натуру. Он видел, как сумасшедшие разрывали на себе одежды и обнажали тела, и видел, как то же самое делали проститутки самого низкого пошиба. Он видел пьяных, бранчливых женщин, которые дрались, словно борцы на ринге, выдирая друг другу волосы. Улицы Парижа и Лондона ими кишели: он знал, что они избавляются от собственных младенцев и продают своих юных дочерей богатым мужчинам, которые надеются, что, насилуя детей, не подхватят срамной болезни. Поэтому Саймон не питает иллюзий насчет утонченной женской природы, но тем более должен оберегать чистоту тех, кто пока еще чист. Лицемерие в подобном деле, несомненно, оправдано: необходимо представлять реальность такой, какова она должна быть.

– Вы думаете, у меня утонченная натура? – спрашивает мисс Лидия.

– Уверен, – отвечает Саймон. Его мучает вопрос, что же он чувствует своей ногой: ее бедро или всего лишь деталь ее платья.

– А я иногда не уверена, – продолжает мисс Лидия. – Некоторые люди говорят, что у мисс Флоренс Найтингейл³¹ грубая натура, иначе бы она не могла наблюдать столь унижительные зрелища без всякого ущерба для своего здоровья. Но она ведь героиня!

– Без сомнения, – поддерживает Саймон.

Он подозревает, что мисс Лидия с ним флиртует. Это довольно приятно, но странным образом напоминает ему о матери. Сколько вполне приемлемых молодых девушек она осторожно расставляла перед ним, наподобие мормышек, украшенных перьями! Она всегда помещала их рядом с вазой, наполненной белыми цветами. Их мораль была безупречна, манеры – чисты, как вешние воды, а душа их представлялась ему куском сырого теста, которому он сам мог придать необходимую форму. Пока девушки одного «урожая» обручаются и выходят замуж, совсем юные распускаются, подобно майским тюльпанам. Теперь они гораздо моложе Саймона, и ему трудно с ними общаться – все равно что разговаривать с целой корзиной котят.

³¹ Флоренс Найтингейл (1820–1910) – легендарная английская сестра милосердия, зачинательница современного ухода за больными, получила прозвище «Женщина с лампой».

Впрочем, его матушка вечно путала молодость с податливостью. В действительности ей нужна такая невестка, которую формировал бы не Саймон, а она сама. Поэтому девушки все так же проплывают мимо, и он по-прежнему равнодушно от них отворачивается, а матушка мягко упрекает его в лени и неблагодарности. Он винит в этом самого себя, повесу и циника, заботливо благодарит мать за старания и успокаивает ее: рано или поздно он женится, но сейчас к этому пока не готов. Вначале он должен заняться научной работой, чего-то добиться в жизни, совершить важное открытие, сделать себе имя.

У него уже есть имя, укоризненно вздыхает матушка, – превосходное имя, которое он, очевидно, решил загубить, не желая передавать его своим потомкам. В этом месте она всегда негромко покашливает: это означает, что роды были трудными, они чуть не свели ее в могилу и дали серьезное осложнение на легкие – невероятный с медицинской точки зрения эффект, но в детстве Саймон всегда съезжился при этом от угрызений совести. Если бы у него родился сын, продолжает матушка, – но сперва он, конечно, женится, – она могла бы спокойно сойти в могилу. Он дразнит ее, заявляя, что в таком случае женитьба для него была бы грехом, ибо такой брак можно приравнять к матереубийству. И добавляет, пытаясь смягчить колкость, что ему легче обойтись без жены, чем без матери – особенно такой идеальной матери, как она. После этих слов матушка внимательно смотрит на него, давая понять, что все эти уловки ей хорошо известны и на мякине ее не проведешь. Он слишком умен, говорит матушка, но не следует думать, будто ее можно подкупить лестью. Однако она смягчается.

Порой у него возникает желание уступить. Он мог бы выбрать себе кого-нибудь из предлагаемых юных барышень – самую богатую. Вел бы размеренную жизнь, его завтраки стали бы, наконец, съедобными, а дети уважали бы отца. Акт продолжения рода они совершали бы тайком, под стыдливым покровом белых простыней, – жена покорно, хоть и с надлежащим отвращением, а он с полным на то правом, – но об этом они бы никогда не вспоминали. Его дом был бы снабжен всеми современными удобствами, а сам он – надежно защищен от житейских забот и тревог. В жизни бывает и хуже.

– Вы думаете, у Грейс утонченная натура? – спрашивает мисс Лидия. – Я уверена, что она не совершала этих убийств, хоть и жалеет, что никому о них не доложила. Наверное, Джеймс Макдермотт возвел на нее напраслину. Впрочем, говорят, он был ее любовником. Это правда?

Саймон чувствует, что покраснел. Если она и флиртует, то сама этого не осознает. Она слишком невинна, чтобы это понимать.

– Трудно сказать, – бормочет он.

– Возможно, ее похитили, – мечтательно говорит мисс Лидия. – В книгах женщин всегда похищают. Но среди моих знакомых таких нет. А у вас?

Саймон отвечает, что никогда с такими не сталкивался.

– Ему отрубили голову. – Мисс Лидия понижает голос. – Макдермотту. И хранят ее в банке, в Университете Торонто.

– Не может такого быть, – возражает Саймон, вновь придя в замешательство. – Череп они, может, и сохранили, но не целую же голову!

– Засолили, как огромный огурец, – удовлетворенно отмечает мисс Лидия. – Ой, простите, матушка хочет, чтобы я пошла и поговорила с преподобным Верринджером. Я бы охотнее побеседовала с вами – он ведь так любит поучать. Но матушка считает, что это полезно для моей нравственности.

Преподобный Верринджер действительно только что вошел в комнату и улыбается Саймону с раздражающей доброжелательностью, словно своему протеже. Или, возможно, он улыбается Лидии?

Саймон смотрит, как Лидия скользит по комнате той плавной походкой, которой обучают юных барышень. Оставшись в одиночестве на диванчике, он думает о Грейс, которую видит

каждый будний день: она сидит напротив него в комнате для шитья. На портрете Грейс кажется старше своих лет, а сейчас, наоборот, выглядит моложе. У нее бледное лицо, кожа гладкая, без единой морщинки и необыкновенно тонкая – наверное, потому, что ее не выпускают на улицу. Или, возможно, это следствие скудного тюремного питания. Она похудела, немного осунулась, но если даже на рисунке изображена хорошенькая женщина, теперь она стала еще краше. Или нет – красота у нее сейчас другая. Скулы приобрели мраморную, классическую простоту. Посмотришь на нее – и поверишь, что страдания и впрямь облагораживают.

Но в тесной комнатке для шитья Саймон не только видит ее, но и обоняет. Он старается не обращать на запах внимания, но это глубинное течение отвлекает его. От нее пахнет дымом, хозяйственным мылом и выступающей на коже солью. А еще самой кожей – влажной, натянутой, зрелой. Чем еще? Папоротником и грибами, раздавленными и забродившими фруктами. Он задается вопросом, как часто узникам разрешается мыться. Хоть ее волосы заплетены и заправлены под чепец, они тоже пахнут – это сильный мускусный запах скальпа. Перед ним – самка животного, настороженная и похожая на лисицу. Он настораживается в ответ: по коже бегают мурашки. Порой Саймону кажется, что он увязает в зыбучем песке.

Каждый день он кладет перед Грейс какой-нибудь небольшой предмет и просит ее рассказать, на какие мысли тот ее наводит. На этой неделе он перепробовал разные корнеплоды, надеясь выстроить нисходящую цепочку: например, «Свекла – Погреб – Трупы» или «Репка – Подземелье – Могила». Согласно его теории, соответствующий предмет должен вызвать у Грейс цепочку тревожных ассоциаций. Но пока что она принимает все его подарки за чистую монету, и ему удалось выудить у нее лишь несколько кулинарных рецептов.

В пятницу он решил взять быка за рога.

– Вы можете быть со мной абсолютно откровенны, Грейс, – сказал он. – Вам не нужно ничего утаивать.

– А с чего мне утаивать, сэр? – возразила она. – Это леди есть что скрывать, ведь она боится уронить свое доброе имя. Ну а мне терять нечего.

– Что вы хотите этим сказать, Грейс?

– Я никогда не была леди, сэр, и уже давно уронила свое доброе имя. Я могу говорить все, что вздумается, а захочу – и вообще ничего не скажу.

– Вас не волнует, какого я о вас мнения, Грейс?

Она быстро, внимательно на него посмотрела, а потом снова вернулась к шитью.

– Меня уже осудили, сэр. И что бы вы ни думали про меня – все едино.

– Справедливо осудили, Грейс? – Он не удержался, чтобы не задать этот вопрос.

– Справедливо или несправедливо – какая разница, – сказала она. – Людям нужно найти виноватого. Если есть преступление, они хотят знать, кто его совершил. Они не любят оставаться в неведении.

– Значит, вы оставили надежду?

– Надежду на что, сэр? – кротко переспросила она.

Саймон почувствовал себя неловко, словно бы нарушил этикет.

– Ну... на освобождение.

– А с какой радости меня выпускать, сэр? – сказала она. – Убивицы ведь не каждый день встречаются. А надежды у меня скромные. Я живу надеждой, что завтра меня накормят вкуснее, чем сегодня. – Она слабо улыбнулась. – Говорят, меня наказали, чтоб другим неповадно было. Поэтому и заменили смертную казнь пожизненным.

«Ну и какой прок от этого примерного наказания? – подумал Саймон. – Ее история завершена, вернее, завершена главная ее часть, определившая всю ее судьбу. Чем заполнить оставшееся время?»

– Вам не кажется, что с вами обошлись несправедливо? – спросил он.

– Не знаю, о чем вы толкуете, сэр.

Она как раз продела нитку в иголку, смочив кончик нитки языком, чтобы проще было пропустить его сквозь ушко. Этот жест показался Саймону вполне естественным и в то же время – невыносимо интимным. Будто бы он подглядывал в щелку за тем, как она раздевалась. Словно бы она, как кошка, умывалась языком.

V

Разбитая посуда

Меня зовут Грейс Маркс, я дочь Джона Маркса, который живет в городе Торонто и по профессии каменщик. Мы приехали в эту страну из Северной Ирландии три года назад. У меня четверо сестер и четверо братьев, одна сестра и один брат старше меня. В июле прошлого года мне исполнилось 16 лет. Все три года, что я жила в Канаде, я работала служанкой в разных местах...

Чистосердечное признание Грейс Маркс, сделанное мистеру Джорджи Уолтону в тюрьме 17 ноября 1843 г., «Стар энд Транскрипт», Торонто

*...За те семнадцать лет
Меня нередко поражало, сколь
Отлична моя участь от судьбы
Всех прочих женщин, что живут на свете.
Удел мой становился шаг за шагом
Всё необычной, скорбней и ужасней:
На цыпочках подкрадывалось горе,
Селилось по соседству и со мной
Сидело вместе и лежало рядом;
Когда же к страху я уже привыкла,
Ворвались с факелом друзья, воскликнув:
«Помпилия, что ты сидишь в пещере,
Зачем рукою обнимаешь волка?
И что за гибкий гад обвил колени
Тебе и ноги – это же змея!»*

Роберт Браунинг. «Кольцо и книга», 1869³²

³² Роберт Браунинг (1812–1889) – английский поэт.

12

Сегодня девятый день, как я сижу в этой комнате с доктором Джорданом. Дни шли не подряд, ведь есть еще воскресенья, а в некоторые дни он не приходил. Сначала я считала по своим дням рождения, потом от первого дня, когда я приехала в эту страну, потом считала с последнего дня Мэри Уитни на этом свете, потом – с того дня в июле, когда стряслась беда, а после этого я считала с первого своего дня в тюрьме. Но сейчас я считаю с того первого дня, который провела в комнате для шитья с доктором Джорданом, ведь нельзя же постоянно считать время от одного и того же события: становится скучно, время все больше и больше растягивается, и у меня просто терпение лопається.

Доктор Джордан сидит напротив. От него пахнет английским мылом для бритья, кукурузными початками и кожаными сапогами. Этот запах меня успокаивает, и я всегда с нетерпением жду его: хорошо, когда мужчины моются. Сегодня он положил на стол картошку, но еще не спросил меня про нее, так что она просто лежит между нами. Не знаю, что он хочет от меня услышать. В свое время я перечистила целую гору картошки и съела ее тоже изрядно: свежая молодая картошечка с маслом да сольцой – просто объедение, особенно с петрушкой, и даже большую старую картошку можно превкусно запечь, но долго говорить тут ведь не о чем. Одни картофелины похожи на детские рожицы, другие – на зверюшек, а как-то раз я видала картошку, похожую на кота. Но эта – самая обычная картошка, ничего особенного. Иногда мне кажется, что доктор Джордан немного не в себе. Но лучше уж говорить с ним про картошку, если ему так хочется, чем не говорить с ним вовсе.

Сегодня на нем новый галстук – то ли красный в синюю крапинку, то ли синий в красную, немного ярковатый на мой вкус, но я никак не могу внимательно его рассмотреть. Мне нужны ножницы, и я говорю об этом. Тогда он вызывает меня на разговор, и я рассказываю:

– Сегодня я дошиваю последний лоскуток для стеганого одеяла, потом сошью все лоскутки вместе и простегаю. Это для одной из молодых дочек коменданта. Называется «Бревенчатый сруб».

Стеганое одеяло «Бревенчатый сруб» должно быть у каждой барышни на выданье: оно означает домашний очаг, и в центре всегда есть красный лоскут, который означает огонь в очаге. Про это мне рассказала Мэри Уитни. Но я не говорю об этом, ведь одеяло – вещь обыденная, вряд ли его заинтересует. Хотя картошка – еще обыденнее.

И он спрашивает:

– Что вы будете шить потом? – А я говорю:

– Не знаю, наверно, мне скажут, мое дело – шить лоскутки, а не стегать, ведь это такая тонкая работа. И жена коменданта сказала, что меня переведут на простое шитье, как в исправительном доме: почтовые сумки, мундиры и всяко-разно. Но в любом случае стегают вечером, причем всей компанией, а в компании меня не приглашают. – И он говорит:

– А если бы вы могли сшить одеяло для себя, какой бы узор выбрали?

Ну уж на этот вопрос я знаю точный ответ. Я вышила бы Райское древо, как на одеяле миссис ольдермен Паркинсон: я вытаскивала его, делая вид, будто смотрю, не надо ли его подлатать, а сама им любовалась. Такая красотища: сплошные треугольники, для листьев – темные, а для яблок – светлые, очень тонкая работа, стежки мелкие-мелкие, я бы и себе такие сделала, только у меня была бы другая кайма. У нее – кайма «Журавль в небе», а у меня была бы двойная: один цвет – светлый, а другой – темный, ее называют «Виноградная лоза»: лозы переплетаются, как на зеркале в гостиной. Работы была бы тьма, и она отняла бы кучу времени, но если бы это было мое и только мое одеяло, я бы с удовольствием его сшила.

Но ему я этого не говорю. Я говорю:

– Не знаю, сэр. Может, «Слезы Иова», «Райское дерево», «Змеиную изгородь» или «Головоломку старой девы», я ведь старая дева, как по-вашему, сэр, да и голову себе вечно ломаю.

Я сказала это назло. Я не ответила прямо, ведь если сказать вслух, чего на самом деле хочешь, это принесет несчастье, а твоя мечта никогда не сбудется. Может, она и так никогда не сбудется, но на всякий случай не надо рассказывать о своих желаниях и вообще о том, что ты чего-нибудь хочешь, иначе тебя за это накажут. С Мэри Уитни так и случилось.

Он записывает названия одеял и спрашивает:

– Райские деревья или Райское дерево?

– Дерево, сэр, – отвечаю. – На одеяле может быть несколько деревьев, и я видела на одном целых четыре штуки, с повернутыми к середине верхушками, но одеяло все равно называлось просто «Дерево».

– А почему, как вы думаете, Грейс? – спрашивает он. Иногда он как дитя: всё почему да почему.

– Потому что так называется узор, сэр, – отвечаю. – Есть еще «Дерево жизни», но это другой узор. Можно еще вышить «Дерево искушения» или «Сосенку» – тоже очень красиво. – Он это записывает. Потом берет картошку, смотрит на нее и говорит:

– Удивительно, что она растет под землей. Можно сказать, картошка растет во сне, в темноте, где ее никому не видно.

А где же еще картошке-то расти? Сроду не видала, чтобы она висела на кустах. Я ничего не говорю, и тогда он спрашивает:

– Что еще находится под землей, Грейс?

– Свекла, – отвечаю. – А еще морковка, сэр. Так в природе устроено. – Его вроде как огорчил мой ответ, и он его не записывает. Смотрит на меня и думает. Потом говорит:

– Вы о чем-нибудь грезили, Грейс? – А я переспрашиваю:

– Что вы хотите сказать, сэр?

Наверно, он спрашивает, мечтаю ли я о будущем и есть ли у меня жизненные планы, но это бессердечно. Ведь я останусь здесь до самой смерти – какие уж тут радужные надежды? Или, может, он спрашивает про сны наяву, не мечтаю ли я о каком-нибудь мужчине, как молодая девица, но ведь это еще бессердечнее. И я говорю, немного рассерженно и с укором:

– Какие еще грезы? Не стыдно вам такое спрашивать? – И он говорит:

– Вы неправильно меня поняли. Я спрашиваю: снятся ли вам по ночам сны? – Опять он со своей джентльменской чепухой – и я отвечаю немного резковато, потому как еще злюсь на него:

– Я так думаю, всем они снятся, сэр.

– Верно, Грейс, но снятся ли они вам? – спрашивает он. Он не заметил моего тона или решил не обращать на него внимания. Я могу сказать ему все что угодно, и его это не выведет из себя, не возмутит и даже не удивит: он просто запишет мои слова. Наверно, его интересуют мои сны, потому что сон может что-нибудь означать. Так написано в Библии: фараону снились тучные и тощие коровы³³, а Иакову – ангелы, что восходили и нисходили по лестнице³⁴. Одно стеганое одеяло так и называется: «Лестница Иакова».

– Снятся, сэр, – говорю.

– И что же вам снилось сегодня ночью?

Мне снилось, что я стою у дверей кухни мистера Киннира. Это летняя кухня, и я только что помыла полы: подол подобран, ноги босые и мокрые, и я еще башмаков не обула. На

³³ Быт. 41:1–36.

³⁴ Быт. 28:12.

крыльце стоит мужчина, какой-то коробейник, вроде Джеремайи, у которого я один раз купила пуговицы для нового платья, а Макдермотт – четыре рубашки.

Только это не Джеремайя, а кто-то другой. Он раскрыл свой короб и разложил на земле товары: ленты, пуговицы, гребешки и штуки полотна, все это было такое яркое: шелковые, кашемировые шали и набивные ситцы переливались на ярком солнышке, ведь лето в самом разгаре.

Мне показалось, что я его раньше знала, но он отворачивал лицо, и я не могла его рассмотреть. Я чувствовала, что он смотрит вниз, на мои босые ноги: голые до колен и не совсем чистые, ведь я мыла полы. А ноги всегда остаются ногами, чистые они или грязные, так что я не опустила подола. Подумала: «Пусть его, бедолага, поглядит: там, откуда он пришел, такого нет ведь. Наверно, он чужеземец какой-то, прошел долгий путь, и вид у него угрюмый, изголовавшийся». Так примерно я думала во сне.

Но потом он перестал на меня смотреть и решил что-нибудь мне продать. У него была моя вещица, и я хотела ее себе вернуть, но у меня не было денег, чтоб ее выкупить.

«Давай поторгуемся, – сказал он. – Что ты мне дашь за нее?» – дразнил он меня.

У него была одна моя рука. Теперь я это увидела – он держал ее, белую и сморщенную, за запястье, будто перчатку. Но потом я посмотрела и увидела, что обе мои руки на месте и выглядывают, как обычно, из рукавов, так что я поняла, что третья рука, быть может, – какой-то другой женщины. Видно, бродила она, искала ее повсюду, и если бы эта рука оказалась у меня, женщина сказала бы, что я ее украла. Но мне она была не нужна, потому что ее, наверно, отрубили. И правда: на ней появилась кровь, потекла густыми, как сироп, каплями. Но я вовсе не испугалась, как испугалась бы настоящей крови наяву. Меня тревожило что-то другое. У себя за спиной я слышала флейту, и это меня очень нервировало.

«Уходи прочь, – сказала я коробейнику, – уходи сейчас же!»

Но он стоял, отвернув голову, и не двигался. Мне показалось, он надо мной смеется.

И я подумала: «Пол испачкает».

Я говорю:

– Не помню, сэр. Запомнила, что мне снилось сегодня ночью. Что-то сумбурное. – И он это записывает.

У меня так мало своего: ни пожитков, ни имущества, ни секретов, и мне нужно хоть что-нибудь сохранить в тайне. Да и вообще, какой прок ему от моих снов? Тогда он говорит:

– Ну что ж, не все коту масленица. – Странные он выбирает слова, и я говорю:

– Я не кот, сэр. – И он говорит:

– Помню-помню, вы не кот и не собака. – Он улыбается. – Вопрос в том, кто же вы, Грейс? Рыба, мясо или отменная копченая птица? – А я переспрашиваю:

– Как вы сказали, сэр? – Мне не нравится, когда меня называют рыбой, мне хочется выйти из комнаты, но не хватает смелости. И он говорит:

– Давайте начнем сначала. – А я говорю:

– С какого такого начала, сэр? – И он говорит:

– С начала вашей жизни.

– Я родилась, сэр, как все, – говорю я, а сама все еще злюсь на него.

– У меня здесь ваше признание, – говорит он, – позвольте мне его зачитать.

– Все это не мое признание, – говорю. – Просто адвокат велел мне так сказать. Все это выдумали журналисты, которые торгуют своими дрянными газетенками. Когда я в первый раз увидела журналиста, подумала: «Ты хоть мамке сказал, что гулять пошел?» Он был почти моих лет. Как можно писать для газеты, если еще и борода не растет? Все они такие, молоко на губах не обсохло, и ни за что не отличат лжи от правды. Они писали, что мне восемнадцать, девятнадцать или не больше двадцати, тогда как мне только-только стукнуло шестнадцать. Не могли даже фамилии правильно написать – фамилию Джейми Уолша писали то Уолш, то Уэлч,

то Уолч. Макдермотта – тоже: Макдермот и Мак-Дермот, с одной и двумя «т». А имя Нэнси записали как Энн – да ее в жизни так никто не называл! Чего от них еще можно ждать? Напридумывают небылиц, лишь бы самим нравилось.

– Грейс, – спрашивает он тогда. – Кто такая Мэри Уитни? – Я быстро гляжу на него.

– Мэри Уитни, сэр? Откуда вы узнали это имя? – спрашиваю.

– Оно стоит под вашим портретом, – отвечает. – На заглавной странице вашего признания. «Грейс Маркс, она же Мэри Уитни».

– Ах да, – говорю. – Портрет совсем не похож на меня.

– А на Мэри Уитни? – спрашивает он.

– Это имя я просто так сказала, сэр. Там, в льюистонской таверне, куда мы убежали с Джеймсом Макдермоттом. Он сказал, чтоб я не называла своего имени, если нас будут разыскивать. Помню, он очень крепко сжал мне руку. Чтобы я обязательно сделала, как он мне велел.

– И вы назвали себя первым именем, какое пришло на ум? – спрашивает он.

– Нет, сэр, – говорю. – Мэри Уитни была когда-то моей лучшей подругой. К тому времени она уже померла, сэр, и я подумала, что она не стала бы возражать, если б я назвалась ее именем. Иногда она давала мне поносить свою одежду. – Я на минутку умолкаю, думая, как бы это понятнее объяснить. – Она всегда была добра ко мне, – говорю. – И без нее моя жизнь сложилась бы совсем иначе.

13

Я с детства помню один стишок:

Дверь отвори, открывай ворота:
Вслед за женитьбой приходит беда.

Наверно, ко мне беда пришла с самого рождения. Как говорится, родителей не выбирают, сэр, но сама бы я не выбрала по своей воле тех родителей, которых дал мне Господь.

В начале моего признания написана сущая правда. Я действительно родом из Северной Ирландии, но считала большой несправедливостью, когда написали, что «оба обвиняемых, по их же собственному признанию, приехали из Ирландии». Звучит так, будто это преступление, а я не думаю, что быть ирландкой – преступление, хотя часто ко мне так и относились. Но, конечно, семья наша была протестантской, а это меняет дело.

Я помню маленькую скалистую бухточку и зеленовато-серую землю с редкими деревцами. Поэтому я так испугалась, когда впервые увидела большие деревья, что росли здесь: я просто не понимала, как дерево может быть таким высоким. Я оставила те места еще ребенком и плохо их помню: только обрывками, как осколки разбитой тарелки. Все время кажется, будто некоторые – от совсем другой посуды, а еще есть дырки, и нельзя их ничем заполнить.

Мы жили в деревянном домике – две комнатки, крыша протекает. Он стоял на отшибе, деревенька недалеко от города, названия которого я журналистам не сказала: может, моя тетушка Полина еще жива, а позорить ее мне бы не хотелось. Она всегда хорошо обо мне отзывалась, хоть я и подслушала, как она говорила моей матушке, чего от меня на самом деле можно ожидать с такими видами на будущее да с таким отцом. Она считала, что матушка вышла замуж за недостойного, говорила, что в нашей семье так уж повелось, и думала, что я тоже этим кончу. Но мне она говорила, что нужно с этим бороться, набивать себе цену, а не сходиться с первым попавшимся дружкой, как моя мать, не узнав, что у него за семья да какое происхождение, и еще – что мне следует остерегаться незнакомцев. В восемь лет я не шибко понимала, о чем она толкует, но все равно это был дельный совет. Моя матушка говорила, что тетушка Полина желает нам добра, но у нее слишком высокие запросы.

Тетушка Полина и ее муж, дядюшка Рой, сутулый, чистосердечный человек, держали в соседнем городе лавочку: кроме обычных товаров, они продавали ткани, кружева, белфастское белье и жили в достатке. Моя матушка приходилась младшей сестрой тетушке Полине и была красивее, чем она: лицо тетушки Полины напоминало наждачную бумагу, и вся она была костлявая, пальцы узловатые, что куриные ноги. А у моей матери были длинные каштановые волосы, – я в нее пошла, – и голубые глаза, круглые и кукольные. До замужества она жила вместе с тетушкой Полиной и дядюшкой Роем и помогала им в лавке.

Моя матушка и тетушка Полина были дочерьми покойного священника-методиста: говорили, он куда-то задевал церковные деньги и не мог после этого получить место. Когда отец умер, они остались без гроша, им пришлось самим добывать себе пропитание. Но обе получили образование, умели вышивать и играть на фортепьяно. Так что тетушка Полина тоже считала свой брак неравным, ведь леди не пристало держать лавку. Но дядюшка Рой был добропорядочным, хоть и грубоватым человеком, он ее уважал, а это очень важно. И всякий раз, когда тетушка заглядывала в свой бельевой шкаф или пересчитывала два своих сервиза: один на каждый день, а другой, из настоящего фарфора, для праздников, – она мысленно благословляла свою счастливую звезду, ведь женщине иногда выпадает и не такая завидная доля; она имела в виду мою мать.

Не думаю, что она так говорила, чтобы обидеть мою матушку, хотя матушка обижалась и плакала. С детства она во всем повиновалась тетушке Полине, а потом появился еще один тиран – мой отец. Тетушка Полина всегда говорила маме, чтоб не слушала отца, а отец говорил ей, чтоб не слушала тетушку Полину, и она буквально разрывалась на части между ними двумя.

Мама была робкой женщиной, нерешительной, слабой и хрупкой, и это меня раздражало. Мне хотелось, чтоб она была сильнее – я бы тогда брала с нее пример.

Отец же мой даже не был ирландцем. Он был англичанин с севера, и так и осталось неясно, почему приехал в Ирландию, ведь большинство любителей путешествовать уезжает в обратном направлении. Тетушка Полина говорила, что, наверно, в Англии у него какие-то неприятности, и он быстренько смотал удочки.

– Возможно даже, Маркс – не его настоящее имя, – говорила она. – Его нужно было назвать Марком, Каиновой маркой, ведь он похож на душегубца. – Но она говорила об этом позже, когда все пошло наперекосяк.

– Поначалу, – рассказывала матушка, – он показался мне довольно приятным и уравновешенным молодым человеком, и даже тетушка Полина соглашалась, что он мужчина видный: высокий, белокурый и почти все зубы на месте.

Когда они поженились, у него еще водились деньжата и имелись планы на будущее, ведь он и впрямь был каменщиком, как писали в газетах. Но тетушка Полина говорила, что матушка все равно не пошла бы за него, кабы ее не вынудили обстоятельства. Все было шито-крыто, хоть и пошел слухок, дескать моя старшая сестра Марта – слишком крупная для семимесячного ребенка. А все потому, что матушка была слишком услужливой, многие молодые женщины на таком обжигались, и тетушка рассказала мне об этом лишь затем, чтобы я сама не совершила подобной ошибки. По ее словам, матушке очень повезло, что отец согласился на ней жениться, этого у него не отнимешь, ведь другой на его месте как только услышал об этой новости, так сел бы на ближайший пароход до Белфаста, а ее оставил на берегу несолоно хлебавши. И что бы тогда могла сделать для нее тетушка Полина, памятуя о своем добром имени и о своей лавке?

Поэтому отец и мать чувствовали, что они оба угодили в ловушку.

Мне кажется, мой отец не был плохим человеком, просто его легко было сбить с толку, и к тому же он оказался в очень невыгодном положении. Как англичанина его не сильно жаловали даже протестанты, ведь они недолюбливают чужаков. И, по словам моего дядюшки, отец уговорил мою матушку выйти за него замуж, чтобы вести привольную и беззаботную жизнь, пользуясь доходами от лавочки. В этом была доля правды, ведь они ему не могли отказать из-за моей матушки и детей.

Все это я узнала в самом раннем возрасте. Двери нашего дома были не слишком толстыми, так что я держала ухо востро, а отец, когда напивался, всегда повышал голос. Стоило ему завестись, и он уже не обращал внимания, что я стояла за дверью или под окном, притаившись, как мышка.

Во-первых, говорил он, у него слишком много детей – а их было много даже для богатого человека. Как писали в газетах, нас было девятеро – тех, что остались в живых. О мертвых не упоминалось: их было трое, не считая мертворожденного ребеночка, который так и остался некрещеным. Матушка и тетушка Полина называли его «потерянным», и в детстве я все думала над тем, где же его потеряли. Ведь мне казалось, что его потеряли, будто грошик, а если вещь потерялась, когда-нибудь она, возможно, найдется.

Троих остальных похоронили на кладбище. Хотя мать молилась все чаще, мы все реже ходили в церковь: матушка сказала, что не собирается выставлять своих бедных оборванцев на всеобщее обозрение, как босоногих пугал. Церковь была приходская, но, несмотря на свою слабохарактерность, матушка была женщина гордая и как дочь священника знала толк в церковном этикете. Она изо всех сил старалась соблюдать приличия и хотела, чтобы мы тоже прилично выглядели. Но очень трудно, сэр, прилично выглядеть без пристойной одежды.

Сама же я повадилась ходить на кладбище. Церковь размером была с коровник, а кладбище все заросло травой. Наша деревня когда-то была большая, но многие разъехались – кто на белфастские фабрики, а кто за океан. И часто из всей семьи не оставалось никого, так что некому было ухаживать за могилками. Погост – одно их тех мест, куда я водила младших братьев и сестер, когда матушка просила с ними погулять. Мы шли проведать трех покойников и посмотреть на могилки. Некоторые были очень старыми, с ангельскими головками на могильных плитах, хотя эти головки больше напоминали лепешки с выпученными глазами и торчащими из ушей крыльями. Я не понимала, как голова может летать сама, без тела. И еще я не понимала, как человек может пребывать в раю и в то же время лежать на кладбище. Но всех остальных это не удивляло.

У троих умерших детей надгробий не было – одни лишь деревянные кресты. Наверно, все они сейчас заросли бурьяном.

Когда мне исполнилось девять, моя старшая сестра Марта пошла в услужение, и вся работа, которой Марта раньше занималась по дому, легла теперь на меня. Через два года мой брат Роберт ушел в море на торговом судне, и с тех пор от него ни слуху ни духу. Но вскоре после этого мы сами переехали, и если бы даже он прислал весточку, она бы до нас просто не дошла.

В доме осталось пять малышей да я сама, и еще один был на подходе. Помнится, матушка всегда была «в деликатном положении», как его обычно называют, хоть я и не вижу в нем ничего деликатного. Его еще называют «несчастливым положением», и вот это ближе к истине – несчастное положение, за которым наступает счастливое событие, хоть и само событие далеко не всегда бывает счастливым.

К тому времени наш отец был уже сыт всем этим по горло. Он говорил:

– На кой ты их рожает? Тебе что, мало? Разве нельзя остановиться? Это же лишний рот!

Отец говорил так, словно сам он не имел к этому никакого отношения. Когда я была совсем маленькой, шести-семи лет от роду, то положила ладошку на мамин живот, весь такой круглый и упругий, и спросила:

– Что там внутри? Лишний рот? – А матушка грустно улыбнулась и ответила:

– Видать...

И я представила себе огромный рот и голову, похожую на ангельские головки на могильных плитах, но с большими такими зубами: этот рот поедал матушку изнутри, и я расплакалась, подумав, что она от этого помрет.

Наш отец уезжал на заработки, бывало, аж в самый Белфаст, и нанимался строителем. Когда работа заканчивалась, он приезжал на пару дней домой, а потом снова искал новую работу. Возвращаясь домой, он уходил в таверну, чтобы спрятаться от детского ора. Он говорил, что мужчина не может думать в таком шуме, а ему ведь нужно все обмозговать да осмотреться: семья у нас огромная, и он ума не мог приложить, как же всех нас одеть да накормить. Но чаще всего засматривался в стакан, и всегда находились те, кто готов был ему в этом помочь. И если он напивался, становился буйным и начинал клясть ирландцев на чем свет стоит, называя их шайкой подлых, никчемных воров и негодяев, и после этого завязывалась драка. Но рука у отца была тяжелая, и скоро у него почти не осталось друзей: хоть им и нравилось выпивать с ним, но не хотелось попадаться ему под руку, когда до этого дело доходило. Поэтому он пил в одиночестве – пил все больше и больше: и чем крепче напитки, тем длиннее становились вечера, и случалось, он даже не выходил на следующий день на работу.

Так он прослыл человеком, на которого нельзя положиться, и работу ему давали все реже. А если он оставался дома – еще хуже: собутыльников нет, вымещать злобу не на ком. Отец говорил, что не знает, зачем Господь наградил его таким пометом, от нас нет никакого проку и всех нас надобно утопить, как котят в мешке. И тогда младшие пугались, а я вводила четверых

старших погулять. Мы брали друг друга за руки, уходили на кладбище и рвали там траву или спускались в бухту и карабкались по скалам, тыкали палками в медуз, выброшенных на берег, или искали что-нибудь в лужах после прилива.

Еще мы ходили на небольшой причал, где швартовались рыбацкие суда. Нам нельзя было туда ходить: матушка боялась, что мы поскользнемся, упадем в воду и утонем, но я все равно водила туда детей, ведь рыбаки иногда нам давали рыбку – вкусную селедочку или макрель, а у нас дома хоть шаром покати. Иногда мы даже не знали, что будем завтра есть. Матушка запрещала нам попрошайничать, да мы почти и не попрошайничали: но пятеро маленьких оборвышей с голодными глазками – печальное зрелище, кого угодно в нашей деревне разжалобит. Так что чаще всего удавалось раздобыть рыбку, и мы возвращались домой с такой гордостью, будто поймали ее сами.

Признаюсь, когда малыши сидели рядышком на причале, свесив над водой босые ножки, у меня в голове мелькнула шальная мысль. Я подумала: можно просто столкнуть парочку из них в воду, и не надо будет кормить столько ртов и стирать столько одежды. Ведь к тому времени почти всю стирку свалили на меня. Но это была только мысль, которую наверняка внушил мне сам дьявол. Или, точнее, мой отец, ведь в том возрасте я еще старалась ему угодить.

Через какое-то время он связался с сомнительной компанией, его видели с подозрительными оранжистами³⁵, и в двадцати милях от нас сожгли дом одного джентльмена-протестанта, вставшего на сторону католиков, а еще одного нашли с дырой в голове. У отца с матерью был разговор по этому поводу, и отец сказал: а как же ему, черт возьми, заработать денег? Матери лучше про это молчок, хотя женщинам ни в чем доверять нельзя: они на мужика едва глянут, так сразу и предадут, и гореть им за это в аду. И когда я спросила матушку, что это за секрет, она достала Библию и заставила меня поклясться на ней, что я тоже сохраню все в тайне, и сказала, что Господь накажет меня, если я нарушу эту святую клятву. Я страшно перепугалась – ведь я не знала, о чем речь, и могла нечаянно проболтаться. А наказание Божье – наверно, жуткое дело, ведь Господь намного больше отца. После этого я всегда очень ревностно хранила чужие секреты, даже самые пустяковые.

На время появились деньги, но лучше от этого не стало: ссоры перешли в мордобой, хотя моя бедная матушка ни в чем не была повинна. И когда тетушка Полина приходила к нам в гости, мама шепталась с ней, показывая синяки, плакала и говорила:

– Он раньше таким не был.

А тетушка Полина отвечала:

– Да ты погляди на него! Он же как худой мех – чем больше в него наливаешь, тем больше из него вытекает. Стыд и позор!

Они приехали вместе с дядюшкой Роем в своей бричке и привезли куриных яиц и грудинки, ведь у нас уже давно не было ни кур, ни свиней. Они сидели в передней, сплошь завешанной одеждой, ведь в тех краях только закончишь стирку, развесишь белье на солнышке – тут же набегут тучи и заморосит дождик. И дядюшка Рой, который был человеком очень прямым, сказал, что не знает другого такого мужчину, который мог бы пустить деньги коту под хвост быстрее, чем мой отец. И тетушка Полина заставила его добавить: «Простите за выражение». Хотя моя матушка и не такое слыхала, ведь когда отец напивался, то ругался, как сапожник.

Теперь нас уже поддерживали не те жалкие гроши, которые отец приносил в дом, а моя матушка с ее шитьем, да и я помогала ей вместе с младшей сестренкой Кейти. Тетушка Полина искала работу, привозила и забирала ее, и наверно, это было для нее накладно из-за лошади, потери времени и прочих хлопот. Но она всегда прихватывала с собой какой-нибудь еды, ведь

³⁵ Оранжисты – ирландские протестанты, сторонники английского владычества над Ирландией, противники ирландского гомруля; с 1798 по 1836 гг. образовывали несколько «лож оранжистов».

хотя у нас была грядка с картошкой, да и капуста своя, овощей не хватало. Еще она отдавала нам обрезки ткани из лавки, и мы шили себе хоть какую-то одежонку.

Отец давно уже не спрашивал, откуда что в доме берется. В те времена, сэр, мужчины гордились тем, что содержат семью, что бы они сами о ней ни думали. А моя матушка была женщина хоть и слабовольная, но мудрая, и ничего ему не говорила. Еще об этом почти ничего не знал дядюшка Рой – хотя он, наверно, догадывался и замечал, как некоторые вещи у него из дома исчезали, а появлялись у нас. Но тетушка Полина была женщиной решительной.

Родился еще один ребеночек, и у меня прибавилось стирки, как всегда прибавлялось с каждым новым младенцем, а матушке недужилось дольше обычного. Так что мне пришлось готовить не только завтраки, которые я и так уже готовила, а еще и обеды. И отец сказал, что нужно просто шмякнуть новорожденного по головке, а потом закопать его на капустной грядке, потому что под землей ему будет намного лучше, чем на земле. И потом он сказал, что ребенок вызывает у него аппетит: он славно смотрелся бы на тарелке с жареной картошкой и с яблоком во рту. А потом спросил, чего это мы все так на него устались.

И тут произошло чудо. Тетушка Полина отчаялась занять собственных детей и поэтому считала всех нас своими детишками. Но вдруг мы заметили, что она в интересном положении. Тетушка очень этому радовалась, а матушка радовалась за нее. Но дядюшка Рой сказал тетушке Полине, что теперь все изменится, ведь он не может и дальше поддерживать нашу семью, а должен подумать о своей и уже строить планы на будущее. Тетушка Полина сказала, что нас нельзя бросить на произвол судьбы, хоть у нас и такой скверный отец, ведь сестра – это ее кровинушка, а дети ни в чем не повинны. И дядюшка Рой сказал, что никто и не говорит о том, чтобы бросить нас на произвол судьбы, а на самом деле он подумывает об эмиграции. Сейчас многие эмигрируют, и в Канадах есть свободная земля, а моему отцу нужно начать с чистого листа. Там полным ходом идет строительство, и каменщики пользуются большим спросом. И еще дядюшка знал из достоверного источника, что скоро там начнут строить много железнодорожных вокзалов. Так что работающий мужчина сможет семью прокормить.

Тетушка Полина сказала, что все это очень хорошо, но кто же переезд оплатит? И дядюшка Рой ответил, что он отложил немного денег, да еще хорошенько пороется у себя в карманах. Этого хватит не только на переезд, но и на еду, которая нам понадобится в пути. И еще он нашел человека, который все устроит за разумную мзду. Перед тем как сделать это предложение, дядюшка Рой все распланировал, ведь он любил вначале семь раз отмерить, а уж потом резать.

На том и порешили, и тетушка Полина приехала к нам, хоть и была в положении, чтобы пересказать все это матушке, и матушка сказала, что должна поговорить с отцом и спросить его согласия, но все это было только ради приличия. Нищим выбирать не приходится, а другого пути у них не было. А тут еще в деревне появились какие-то чужаки – говорили о сгоревшем доме и убитом джентльмене и задавали всякие вопросы. Так что отцу моему нужно было поскорее уносить ноги.

Поэтому он весь напыжился и сказал, что для него начинается новая жизнь, и это очень великодушно со стороны дядюшки Роя: отец берет деньги на переезд в займы и вернет их, как только разбогатеет. Дядюшка Рой сделал вид, будто поверил. Ему хотелось не унижать отца, а просто от него избавиться. Что же касается великодушия, наверно, дядюшка подумал: лучше выплатить разом всю сумму, чем годами выдавать ее по чайной ложке. И на его месте я поступила бы точно так же.

И вот все пришло в движение. Решено было отплыть в конце апреля: так мы прибудем в Канады в начале лета, когда стоит теплая погода, и можно как следует обосноваться. Мама с тетушкой Полиной строили кучу планов, разбирали и укладывали вещи. Обе пытались

казаться веселыми, но обе грустили. Ведь они были сестрами, делили меж собой все радости и горести и понимали, что вряд ли им доведется снова увидеться.

Тетушка Полина принесла из лавки добротную льняную простыню, правда, слегка подпорченную; плотную теплую шаль – ведь она слыхала, что за океаном холодно; и плетеную корзинку, а в ней – фарфоровый чайник, две чашки и блюдца с розочками, обложенные соломой. И матушка горячо ее поблагодарила, сказав, что тетушка всегда была к ней так добра, и в память о ней она будет хранить этот чайник как зеницу ока.

И они еще долго, беззвучно плакали.

14

До Белфаста мы добирались на повозке, нанятой дядюшкой. Поездка выдалась долгой, нас сильно трясло, но дождя почти не было. Белфаст оказался большим каменным городом, такого я еще никогда не видела, повсюду громыхали кареты да экипажи. Там было несколько высоких зданий и много бедняков, которые днем и ночью трудились на ткацких фабриках.

Вечером, когда мы приехали, горели газовые фонари. Я увидела их впервые – свет был похож на лунный, только зеленее.

Мы спали на постоялом дворе, кишевшем блохами, что собачья конура. Мы внесли все сундуки в комнату, чтобы у нас пожитки не украли. Больше я ничего не видела, ведь утром нужно было сразу же сесть на корабль, и поэтому я подгоняла детишек. Они не понимали, куда мы плывем, да и сказать по правде, сэр, никто из нас этого не понимал.

Судно уже стояло у причала: тяжелая неповоротливая громадина, прибывшая из Ливерпуля. Позднее мне рассказали, что она перевозила из Канад на восток бревна, а на обратном пути – эмигрантов. И бревна, и эмигранты для них – все едино груз, который нужно переправить на другой берег. Люди уже садились на борт со всеми своими узелками и сундуками, и некоторые женщины истошно причитали. Но я молчала, потому что не видела в этом проку, а отец наш был мрачнее тучи – ему хотелось тишины, и он с удовольствием влепил бы кому-нибудь тумака.

Корабль раскачивался на волнах, и мне было страшно. Младшие дети радовались, особенно мальчишки, а у меня сердце в пятки уходило, ведь я никогда не плавала на корабле, даже на маленьких рыбацких лодках у нас в бухте. И я знала, что мы должны переплыть через океан, а оттуда даже не видно суши, и если мы попадем в кораблекрушение или шлепнемся за борт, то утонем, потому что никто из нас не умеет плавать.

Я увидела три вороны – они сидели в ряд на перекладине мачты, – и матушка тоже их увидела и сказала, что это дурной знак: три вороны в ряд предвещают смерть. Я удивилась ее словам, ведь она никогда не была суеверной. А она, наверно, просто затосковала: я заметила, что когда люди грустят, им всюду мерещатся зловещие предзнаменования. Но я очень сильно испугалась, хотя перед младшими виду не показывала. Если бы они увидели, что я волнуюсь, то и сами бы расстроились, а гвалта и суеты хватало и без этого.

Отец с храбрым видом зашагал вверх по сходням. Он нес самый большой узел с одеждой и постельным бельем, как ни в чем не бывало озираясь по сторонам, словно все это ему было знакомо и он ничего не боялся. А матушка поднималась с тяжелым сердцем, закутавшись в платок и украдкой роняя слезы. Заламывая руки, она сказала мне:

– И кто нас туда гонит? – И когда мы сели на корабль, сказала: – Я больше никогда не ступлю на сушу. – А я спросила:

– Мама, зачем ты так говоришь? – И она ответила:

– Костями чую.

Именно так все и случилось.

Отец заплатил за то, чтобы самые большие наши сундуки погрузили на корабль. Обидно было тратить на это деньги, но ничего другого не оставалось: он бы не смог втащить все сам – грубые и назойливые носильщики все равно бы ему помешали. На палубе толпилась целая куча народу, люди сновали взад и вперед, а мужчины орал нам: «Прочь с дороги!» Сундуки, которые во время плавания нам не понадобятся, отнесли в особую каюту и заперли от воров, а еду, которую мы взяли с собой в дорогу, положили в другое место. Но одеяла и простыни свалили на койки, а чайник тетюшки Полины мама оставила у себя, чтобы он всегда был перед глазами. Плетеную же корзинку она привязала бечевкой к кровати столбику.

Спать мы должны были под палубой – в так называемом «трюме», куда спускались по склизкой лестнице. Весь трюм заполняли нары – жесткие, неструганные деревянные доски шести футов в длину и ширину, плохо прибитые гвоздями. На каждой койке помещалось двое взрослых или трое-четверо детей. Они располагались в два уровня, а между нижней и верхней койкой можно было втиснуться с большим трудом. Если ты занимала нижнюю, не хватало места, чтобы сесть прямо, и ты вечно стучалась головой о верхнюю доску. А если была наверху, то в любую минуту могла свалиться вниз. Люди набились в трюм, как сельди в бочку, окон там не было, и воздух поступал только через люки в потолке. Стояла страшная духота, но потом стало еще хуже. Нам пришлось хвататься за койки руками и сразу же сбрасывать на них свои вещи. Все толкались и дрались за места, и я боялась, как бы нас не разделили и перепуганные дети не остались ночью одни, среди чужих.

Мы отплыли в полдень, когда погрузили все вещи. Как только подняли сходни и пути на сушу не осталось, всех нас колоколом созвали выслушать речь капитана – сухопарого шотландца-южанина. Он сказал, что мы должны подчиняться корабельным правилам, на судне запрещено разжигать костры для готовки, а всю нашу еду будет варить корабельный кок, если быстро приносить съестное под бой склянок. Нельзя курить трубки, особенно в трюме, потому что это приводит к пожарам, а если кто-то не в силах обойтись без табака, пусть жует его и сплевывает. Стирать можно только в хорошую погоду, он сам скажет когда. Ведь если поднимется шторм, наши вещи может смыть волной, а если пойдет дождь, ночью весь трюм будет забит мокрой одеждой, и он уверяет, что испарения особого удовольствия нам не доставят.

Нельзя без разрешения выносить постельное белье на палубу для проветривания, и все должны подчиняться его приказам, а также приказам первого и всех остальных помощников, потому что от этого зависит безопасность на корабле. В случае нарушения дисциплины нас запрут в карцер, и он надеется, что никто не захочет испытывать его терпение. Кроме того, продолжал капитан, на судне запрещено пьянство, поскольку оно приводит к падению за борт. Как только сойдем на берег, сможем напиться как сапожники, но только не на его корабле. И для нашей же безопасности нам не разрешалось подниматься ночью на палубу, чтобы мы случайно не упали за борт. Нельзя мешать матросам выполнять свои обязанности или подкупать их, добываясь их расположения. У него даже на затылке есть глаза, и если кто-нибудь посмеет его ослушаться, он тотчас об этом узнает. Его подчиненные могут подтвердить, что он держит команду в ежовых рукавицах, и в открытом море слово капитана – закон.

Если мы заболеем, на корабле есть врач, но многим придется помучиться, пока мы не привыкнем к морской качке. Так что не следует докучать врачу такими пустяками, как легкая морская болезнь. Если все пройдет гладко, мы снова сойдем на сушу уже через шесть-восемь недель. В заключение он сообщил, что на каждом корабле водятся крысы, и это хороший знак – крысы покидают тонущий корабль первыми. Поэтому капитан просил его не беспокоить, если какая-нибудь благовоспитанная леди случайно увидит где-нибудь крысу. Возможно, никто из нас раньше крыс не видал, – при этих словах раздался смех, – и если нам интересно, он может показать одну свежееубитую тварь, кстати, весьма аппетитную, если кто из нас проголодался. И снова раздался смех, ведь он просто шутил, чтобы мы расслабились.

Когда смех умолк, капитан подытожил: его корабль – не Букингемский дворец, а мы – не французская королева и в этой жизни все мы получаем то, за что заплатили. И пожелал нам приятного плавания. После чего ушел в свою каюту и оставил нас разбирать вещи. Наверно, в глубине души ему хотелось, чтобы все мы оказались на дне морском, если деньги за перевозку останутся у него. Но, по крайней мере, он ничего от нас не скрывал, и на душе у меня стало спокойнее. Нет нужды говорить, что многие его указания не выполнялись, особенно насчет курения и пьянства. Но тем, кто пил и курил, приходилось делать это втихую.

Поначалу все шло не так уж и плохо. Тучи поредели, временами выглядывало солнце. Я стояла на палубе и смотрела, как судно выходит из гавани. Пока еще видно было сушу, я не замечала качки. Но как только мы вышли в Ирландское море и матросы подняли все паруса, я почувствовала себя неважно, и меня начало тошнить. Вскоре весь мой завтрак очутился в шпигате, и я держала за обе руки одного малыша, которого тоже рвало. Мы были не одни: многие другие пассажиры тоже выстроились в ряд, как свиньи у корыта. Матушка лежала без сил, а отца тошнило еще сильнее, чем меня, так что никто из них не мог помочь детям. Хорошо еще, что мы не успели пообедать, а то могло быть и хуже. Матросы давно к такому привыкли и таскали наверх соленую воду ведрами – смывать нечистоты.

Потом мне чуть полегчало: возможно, подействовал свежий морской воздух или я просто освоилась с корабельной качкой. Извините за выражение, сэр, но мне уже нечем было тошнить, и пока оставалась на палубе, я чувствовала себя не так уж и плохо. Об ужине и речи быть не могло, потому что всем нездоровилось. Но один матрос сказал мне, что если выпить немножко воды и грызнуть сухарик, станет лучше. Мы запаслись сухарями по совету дядюшки, и теперь налегали на них изо всех сил.

Наше состояние немного улучшилось, но вечером пришлось спуститься вниз, и тут-то начался сущий ад. Как я уже сказала, никаких перегородок там не было, все пассажиры сбились в кучу, и всех ужасно тошнило. Отовсюду было слышно, как тужились и охали соседи, и от одних этих звуков уже делалось дурно. В трюм почти не поступало свежего воздуха, и стояло такое зловоние, что желудок наизнанку выворачивало.

Простите меня за подробности, сэр, но облегчиться мы тоже не могли по-человечески. Ведра стояли у всех на виду – хорошо еще, что ни зги не видать. Люди двигались ощупью в темноте, чертыхались и ненароком переворачивали ведра, но если даже не переворачивали, многие в это ведро просто не попадали. К счастью, в полу были щели, и нечистоты стекали вниз. Тогда я и задумалась над тем, сэр, что женщинам в юбках удобнее, чем мужчинам в брюках. Ведь у нас есть как бы переносной шатер, а несчастным мужчинам приходится ковылять в штанах, спущенных до самых лодыжек. Правда, как я уже сказала, там была такая темень, что хоть глаз выколи.

Корабль со скрипом раскачивался из стороны в сторону, волны бились о борт, кругом шум и смрад, а крысы бегали себе, как ни в чем не бывало, – похоже на муки грешной души в преисподней. Я вспомнила об Ионе во чреве кита, но он ведь просидел там всего три дня, а нам здесь предстояло провести восемь недель. К тому же Иона сидел во чреве один и не слышал, как стонали и рыгали другие.

Через несколько недель стало легче – морская болезнь у многих прошла, но воздух по ночам всегда был спертым, и гам ни на миг не утихал. Рыгали, конечно, меньше, но зато больше кашляли и храпели. А еще много плакали и молились, что и понятно в таком-то положении.

Но я не хочу оскорблять ваших чувств, сэр. Ведь корабль – такая передвижная трущоба, только без питейных заведений. И я слышала, сейчас корабли стали намного лучше.

Может, открыть окно?

Все эти страдания имели одно хорошее последствие. Среди пассажиров были католики и протестанты, да еще в придачу несколько англичан и шотландцев, приплывших из Ливерпуля. Если бы они были здоровы, то ссорились бы и дрались, ведь они друг друга терпеть не могут. Но сильный приступ морской болезни отбивает всякое желание затеять ссору. И те, кто на суше с радостью перерезали бы друг другу глотку, порой с материнской нежностью поддерживали друг дружку голову над шпигатом. То же самое я иногда замечала в тюрьме, ведь нужда с кем только не сведет! Возможно, корабль и тюрьма – это Божье напоминание о том, что все мы

– люди из плоти, а всякая плоть – трава³⁶ и обратится во прах. Так мне, во всяком случае, хочется думать.

Через несколько дней я привыкла к морской качке и уже могла бегать вверх и вниз по лестнице, готовя еду. У каждой семьи была своя пища, которую приносили корабельному коку, складывали в сетку и опускали в котел с кипящей водой. Поэтому обед получался не только свой, но и со вкусом чужой еды. У нас была солонина, свиная и говяжья, немного лука и картошки, но совсем чуточку, потому что тяжелые, да еще сушеный горох и капуста, которая быстро закончилась: я решила, что ее нужно съесть скорее, пока не завяла. Овсянку мы не могли варить в общем котле и поэтому заливали ее кипятком и настаивали, чай тоже. И как я уже говорила, у нас были еще сухари.

Тетушка Полина дала маме три лимона, которые были для нас на вес золота. Она сказала, что лимоны очень хорошо помогают от цинги. Я бережно хранила их на случай нужды. Короче говоря, еды хватало, чтобы поддерживать силы, а некоторые и этим не могли похвастаться, потому что все деньги потратили на переезд. Мне даже казалось, что мы немного сэкономили, ведь родители из-за болезни не съедали своей доли. Поэтому я дала пару сухариков нашей соседке, пожилой женщине по имени миссис Фелан, и она горячо поблагодарила меня и сказала:

– Благослови тебя Господь! – Она была католичкой и ехала с двумя детьми своей дочери, которые остались у нее, когда семья эмигрировала. Теперь она везла их в Монреаль – переезд оплатил зять. Я помогала ей ухаживать за детьми и позже об этом не жалела. Если сделать доброе дело, оно вернется к тебе сторицей. Уверена, сэр, вы не раз это слышали.

И когда нам сказали, что можно заняться стиркой, потому что погода хорошая и дует сухой ветер, – из-за этой морской болезни мы все извозились, – я взяла не только наши вещи, но и ее покрывало. Это, конечно, была не стирка, а одно название: нам дали ведра с морской водой, и мы просто смыли грязь с вещей, которые потом все равно пахли солью.

Полторы недели спустя мы попали в ужасный шторм, и наш корабль швыряло из стороны в сторону, как пробку в лохани. Все истово молились и визжали от страха. Никакой еды не готовили, а ночью невозможно было уснуть: если не держаться руками за койку, свалишься вниз. И капитан прислал первого помощника сказать нам, чтобы мы успокоились, это обычный шторм и нет никаких причин для паники. К тому же ветер дует как раз в нужную нам сторону. Но в люки затекала вода, и поэтому их задраили. Нас заперли в крошечной темноте, дышать совсем стало нечем, и я думала, мы все задохнемся насмерть. Но капитан, наверно, знал об этом, и люки время от времени открывали. Однако лежавшие рядом с ними промокли насквозь: так они расплачивались за свежий воздух, которым дышали раньше.

Буря улеглась два дня спустя, и протестанты устроили благодарственный молебен, а оказавшийся на борту священник отслужил для католиков мессу. Из-за тесноты мы не могли избежать ни того, ни другой. Но никто не возражал: как я уже сказала, католики и протестанты относились там друг к другу намного терпимее, чем на суше. Сама я очень подружилась со старенькой миссис Фелан, к тому времени она уже встала на ноги, а матушка все еще была слаба.

После шторма похолодало. Густой пеленой опустился туман, а потом начали попадаться айсберги, которых, как нам сказали, в этом году больше, чем обычно. И мы замедлили ход, чтобы в них не врезаться. Матросы говорили, что большая часть айсберга находится под водой и ее не видно. Нам повезло, что ветер был не сильный, а не то мы бы могли налететь на один, и судно расколосось бы в щепки. Но я не могла налюбоваться айсбергами. Огромные такие горы льда с белыми пиками и башенками, что сверкали на солнце, и с голубыми огоньками

³⁶ Парафраз Ис. 40:6, 1 Пет. 1:24.

в середине. И я думала, что райские стены, наверно, тоже сделаны изо льда, только не такие холодные.

Но там, среди айсбергов, наша матушка тяжело захворала. Почти все время она не вставала с койки из-за морской болезни и ничего не ела, кроме сухарей с водой да жидкой овсяной каши. Отцу было немногим лучше, а если судить по его стонам, то даже хуже. Белье было в плачевном состоянии, ведь во время шторма мы не могли ни постирать, ни проветрить постель. Поэтому я не сразу заметила, что с матушкой творится неладное. Она сказала, у нее так сильно болит голова, что она почти ничего не видит, и я принесла мокрую тряпку и положила ей на лоб. Я поняла, что у нее жар. Потом она стала жаловаться, что у нее очень болит живот, и я его ощупала. Твердый и вздутый, и я подумала, что это еще один лишний рот, хоть и не поняла, как он мог появиться так быстро.

Поэтому я рассказала все старенькой миссис Фелан, которая говорила мне, что приняла за свою жизнь шестнадцать младенцев и девятерых из них родила сама. И она сразу же пришла, и стала тыкать да шупать, а матушка громко закричала. Тогда миссис Фелан сказала, что нужно послать за корабельным доктором. Мне этого не хотелось, потому что капитан говорил, чтобы мы не докучали врачу по пустякам. Но миссис Фелан сказала, что это не пустяк и никакой не младенец.

Я спросила отца, но он ответил, чтобы я поступала, как знаю, черт возьми, потому что ему худо и вообще не до того. Поэтому я в конце концов послала за врачом. Но тот не пришел, а моей матушке становилось все хуже и хуже. Она уже почти не разговаривала, только лопотала какую-то бессмыслицу.

Миссис Фелан сказала:

– Какой позор! К корове и то лучше относятся. – И еще добавила: – Нужно сказать врачу, что, возможно, это тиф или холера – на корабле этого бояться больше всего на свете. – Я так и сделала, и врач тотчас пришел.

Но, как говаривала Мэри Уитни, толку от него было, как от козла молока, уж извините за выражение, сэр. Он пощупал у матушки пульс и потрогал лоб, задал несколько вопросов, на которые нельзя ответить ничего путного, и сказал нам, что холеры у нее нет, но я это и без него знала, потому что сама ее придумала. Он не мог точно сказать, что с ней, – скорее всего, опухоль, киста или аппендицит, – и пообещал дать ей что-нибудь от боли. Наверно, дал ей настойку опия, причем большую дозу, потому что матушка вскоре затихла, чего он наверняка и добивался. Врач сказал, нам остается лишь надеяться на то, что кризис пройдет, но нельзя установить его причину без вскрытия, от которого она уж точно умрет.

Я спросила, можно ли вынести ее на палубу, на свежий воздух, но он ответил, что тормозить ее нежелательно. Потом быстренько ушел, на ходу отметив, какой спертый здесь воздух, дескать, задохнуться можно. Это я тоже без него знала.

Той же ночью матушка померла. Мне хотелось бы рассказать вам, что ей привиделись ангелы и что она, как в книгах, произнесла красивую речь на смертном одре. Но если ей что-то и привиделось, она сохранила это в тайне и не проронила ни звука. Я заснула, хотя собиралась не спать и дежурить, и когда утром очнулась, мама была уже мертвая, глаза открытые и застыли, как у скумбрии. Миссис Фелан обняла меня, закутала в платок и дала отпить из бутылочки со спиртом, которую держала при себе для лечения. Она сказала, что лучше мне поплакать: бедняжка, по крайней мере, отмучилась, и теперь она в раю со святыми, хоть и протестантка.

Еще миссис Фелан сказала, что надо было открыть окно, чтобы выпустить душу на волю. Но, возможно, моей бедной матушке это не навредит, ведь в днище корабля окон нет и открывать, стало быть, нечего. А я никогда и не слыхала о таком обычае.

Я не плакала. Мне казалось, что умерла не матушка, а я сама. Я сидела, как в столбняке, и не знала, что мне делать. Но миссис Фелан сказала, что мы не можем так ее оставить, и спро-

сила, нет ли у меня белой простыни, чтобы ее схоронить. И тогда я ужасно разволновалась, ведь простыней у нас осталось всего три. Две старые износились, и тогда мы разрезали их пополам и перевернули, а еще одну новую дала нам тетушка Полина. И я теперь не знала, какую выбрать. Взять старую – неуважительно, но если взять новую, для живых это будет пустым изводом. И все мое горе перешло на эти простыни. Под конец я спросила себя, как бы поступила здесь матушка, и поскольку при жизни она всегда вела себя очень скромно, то я остановилась на старой простыне: по крайней мере, она была более-менее чистая.

Когда капитана обо всем известили, пришли два матроса, чтобы вынести матушку на палубу. Миссис Фелан поднялась вместе со мной, и мы ее прибрали: закрыли ей глаза и распустили красивые волосы – миссис Фелан сказала, что нельзя хоронить с собранными волосами. Я оставила матушку в той одежде, что была на ней, только без туфель. Туфли и шаль я приберегла для себя: они ведь ей уже не понадобятся. Матушка была бледной и хрупкой, как весенний цветок, а дети стояли вокруг и плакали. Я велела каждому поцеловать ее в лоб – вряд ли она умерла от какой-нибудь заразной болезни. И один матрос, хорошо разбиравшийся в этих делах, очень аккуратно завернул ее в простыню, туго зашил и привязал к ногам кусок железной цепи, чтобы тело опустилось на дно. Надо было отрезать на память прядь волос, но я так растерялась, что совсем забыла.

Как только лицо скрылось под простыней, мне показалось, что на самом деле это не моя матушка, а какая-то чужая женщина. Или матушка вся переменялась, и если я сейчас отдерну простыню, то увижу совершенно другого человека. Наверно, такие мысли бывают от потрясения.

К счастью, в одной из кают на корабле плыл священник – тот, что отслужил благодарственный молебен после шторма. Он прочитал короткую молитву, а отец насилу выбрался по лестнице из трюма и стоял, понутив голову, помятый и небритый, но хоть живой. Когда нашу бедную матушку спустили в море, вокруг плыли айсберги, а судно со всех сторон обволакивал туман. До самой последней минуты я не задумывалась, что с ней будет дальше, но едва представила, как она идет ко дну в белом саване, посреди всех этих пучеглазых рыб, меня пробрала жуть. Это пострашнее, чем хоронить в земле – тогда хоть знаешь, где лежит тело.

Затем все быстро закончилось, и следующий день прошел как обычно, только без матушки.

Той ночью взяла я один лимон, разрежала его и дала каждому ребенку по дольке. И сама одну съела. Лимон был такой кислый, что обязательно должен был принести пользу. Только до этого я и додумалась.

Мне осталось рассказать вам лишь об одном. Пока стоял штиль и над морем стелился густой туман, плетеная корзинка с чайником тетушки Полины упала на пол, и чайник разбился. А весь шторм, когда нас швыряло и раскачивало из стороны в сторону, корзинка преспокойно провисела на кроватном столбике.

Миссис Фелан сказала, что, наверно, корзинка отвязалась, когда кто-то попытался ее украсть, но испугался, что его поймут. Так она никому и не досталась. Но сама-то я думала иначе. Мне казалось, что корзинку задела мамина душа, которая угодила в ловушку, потому что мы не открыли окно, и теперь она сердилась на меня из-за старой простыни. Ее душа навсегда останется в трюме, словно мотылек в бутылке, и будет бороздить туда и обратно этот страшный, безрадостный океан: в одну сторону – вместе с эмигрантами, а в другую – вместе с бревнами. И от этого мне стало очень-очень грустно.

Видите, какие странные мысли приходят иногда в голову. Но я ведь тогда была еще маленькой девочкой, совсем несмышленной.

15

По счастью, штиль закончился, иначе бы наши запасы пищи и пресной воды иссякли. Подул ветер, туман рассеялся, и нам сказали, что мы благополучно миновали Ньюфаундленд, хоть я его даже не заметила и не поняла, город это или страна. Вскоре мы вошли в реку Святого Лаврентия, хоть никакой суши еще и близко не было. И когда мы ее увидели к северу от корабля, то это оказались сплошные скалы и леса, на вид – темные, грозные и вовсе не пригодные для человеческого жилья. В воздухе парили стаи птиц, кричавших, как неприкаянные души, и я надеялась, что нам все же не придется жить в таком месте.

Но через какое-то время на берегу показались фермы и дома, и суша приобрела более мирный или, можно сказать, прирученный вид. Мы должны были причалить к одному острову и провериться на холеру, потому что ее много раз завозили в эту страну на кораблях. Но на нашем судне люди умирали по другим причинам. Кроме матушки, покойников было четверо: двое умерли от чахотки, одного хватил удар, а четвертый выпрыгнул за борт. Поэтому нас пропустили без проверки. Я успела хорошенько отмыть детишек в речной воде, хоть она и была очень студеной, – по крайней мере, их лица и руки, которые вконец испачкались.

На следующий день мы увидели город Квебек, который возвышался на крутом утесе над рекой. Дома были каменные, а в порту корабейники и уличные торговцы продавали свои товары. Я купила у одной торговки свежего лука. Она говорила только по-французски, но мы сумели объясниться на пальцах. И мне кажется, она сбавила цену – из-за детишек с осунувшимися лицами. Мы так соскучились по луку, что съели его сырым, как яблоки, и нас после этого пучило, но раньше я даже не догадывалась, что лук может быть таким вкусным.

Некоторые пассажиры сошли с корабля в Квебеке, чтобы попытать счастья там, а мы поплыли дальше.

Что же мне вам рассказать об оставшейся части поездки? Обычное путешествие, в основном – неприятное. Иногда мы двигались по суше, обходя речные пороги, а потом пересели на другой корабль на озере Онтарио, которое больше похоже на море, чем на озеро. Там летали целые тучи маленьких кусачих мошек и комаров размером с мышонка. Я боялась, что дети зачешут себя до смерти. Отец пребывал в угрюмости, подавленном настроении и часто говорил, что не знает, как он теперь будет справляться без матушки. В ту пору лучше было вообще ничего ему не отвечать.

Наконец мы добрались до Торонто, где, по слухам, можно было бесплатно получить земельный участок. Городок плохонький – сырой и низкий. В тот день шел дождь: повсюду экипажи, толпы людей спешили туда и сюда, повсюду грязь, и только главные улицы мошечные. Дождик был теплый, а воздух – душный и вязкий, как масло, что липнет к коже. Позже я узнала, что это здесь обычная погода для теплого времени года, когда люди страдают от лихорадки и других летних болезней. В городе имелось газовое освещение, правда, не такое роскошное, как в Белфасте.

Население было смешанное: много шотландцев, ирландцы, ну и конечно англичане, много американцев и чуток французов. Еще индейцы, хоть и без перьев, и немного немцев. Кожа всех оттенков – это было для меня в новинку; и ни за что не догадаешься, чей говор услышишь в следующую минуту. В городе было много таверн, а в порту – толпы пьяных матросов, и все это напоминало вавилонское столпотворение.

Но в тот первый день мы еще толком не успели осмотреть город, ведь нам нужно было найти себе крышу над головой за самую низкую цену. Отец познакомился с одним человеком на корабле, который ввел нас в курс дела. Поэтому родитель запихнул нас вместе с нашими

сундуками в одну комнатку таверны, грязнее пороссячьей лужи, и оставил там с кувшином сидра, а сам ушел наводить справки.

Вернулся он утром и рассказал, что нашел жилье, и мы туда отправились. Жилье находилось к востоку от порта близ Лотстрит, в задней части дома, много повидавшего на своем веку. Хозяйку звали миссис Бёрт – почтенная вдова-морячка, она сама так представилась, дородная и краснощекая. От нее пахло копченым угрем, и она была немного старше отца. Хозяйка жила в передней части дома, давно не крашенного, а мы заняли две комнаты на задах, больше похожих на пристройку. Подвала у нас не было, и я обрадовалась, что сейчас не зима, потому что ветер продувал комнаты насквозь. На полу – широкие доски, уложенные слишком близко к земле, и в щели между ними вползали жуки и прочие букашки. После дождя становилось еще хуже, и однажды утром я нашла на полу живого червяка.

Комнаты сдавались без мебели, но миссис Бёрт дала нам на время две кровати с тюфяками, набитыми кукурузной лузгой, пока отец не оправится, как она выразилась, от пережитого им тяжелого удара. Воду мы брали из колонки во дворе, а еду готовили на железной печке, стоявшей в коридоре между половинами дома. Это была не кухонная плита, а печка для обогрева, но я приноровилась, после некоторых усилий изучила ее повадки и даже умудрялась кипятить на ней чайник. Это была первая железная печка в моей жизни, и можете себе представить, каких треволнений она мне стоила, не говоря уже об удушливом дыме. Но топлива было навалом, ведь вся страна была покрыта лесами, которые постоянно вырубали, чтобы расчистить место для новых домов. И после стройки оставались куски досок, так что можно было поулыбаться рабочим и унести несколько штук домой.

Но, по правде говоря, сэр, готовить было особо нечего. Отец сказал, что нужно приберечь денежки, чтобы он мог хорошо устроиться, как только осмотрится в этом новом городе. Так что поначалу мы питались в основном овсянкой. Но миссис Бёрт держала в сарае на заднем дворе козу и угощала нас свежим козьим молоком. Был конец июня, и поэтому она давала нам еще и лука с огорода, а мы за это выпалывали на нем бурьян, которого было немало. И когда она пекла хлеб, то выпекала одну лишнюю буханку для нас.

Миссис Бёрт говорила, что ей нас очень жалко из-за того, что мы остались без матери. Своих детей у нее не было: единственный ребеночек умер от холеры вместе с ее дорогим покойным супругом, и она скучала по топоту детских ножек. Во всяком случае, так она говорила отцу. Миссис Бёрт с тоской смотрела на нас и называла бедными сиротками, ягнятками и ангелочками, хотя на самом деле мы были оборвышами и замарашками. Мне кажется, она подумывала даже выйти за отца замуж. Он выпячивал свои достоинства и всячески о себе заботился. Наверно, такой мужчина, недавно овдовевший и с кучей детей, казался миссис Бёрт плодом, готовым упасть с дерева в заботливые руки.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.